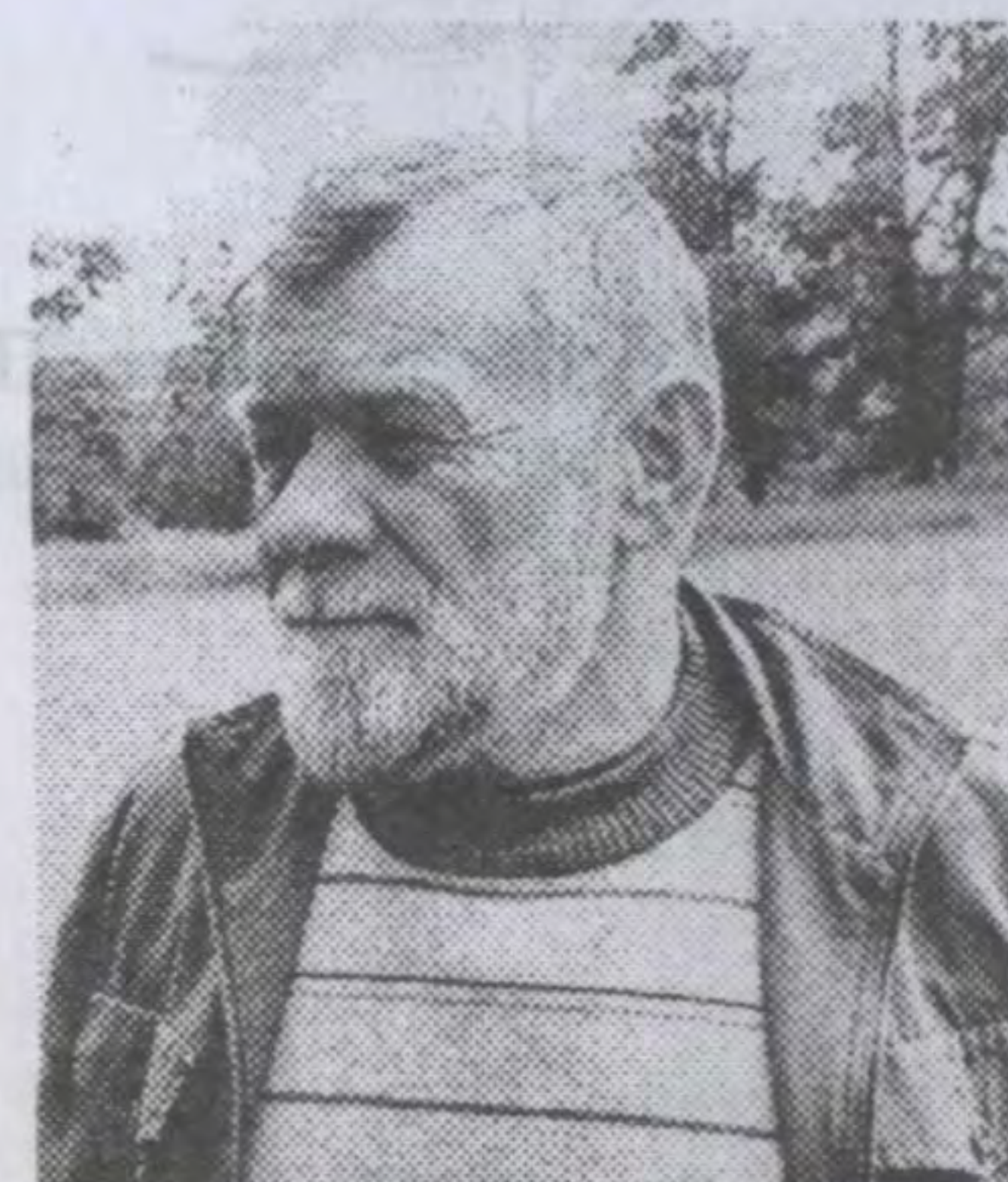


## Владислав ЛЕЦИК

член Союза писателей России,  
выпускник БГПИ 1967 года

От редакции. Альманах «Амур» не раз печатал произведения Владислава Лецика — подлинного мастера художественного слова, блестящего рассказчика, филигранного стилиста, талантливейшего прозаика и незаурядного лирика, но сегодняшняя публикация — явление совершенно особого рода. Не сомневаемся, что эта только что завершённая им повесть о детстве войдёт в золотой фонд литературы Приамурья, станет «классикой жанра», а главное — будет иметь большой и долгий успех у читателей всех возрастов, в том числе и у школьников.



## ПЕРВЫЕ ПРИВЕТЫ

Повесть о детстве

Придётся и мне, в неведомый срок, уйти из этого мира, никуда от такой перспективы не увильнёшь. Но одна малость меня всё-таки тревожит.

Уйду — и не успею рассказать. Будет жаль.

Хотя — кому жаль? Если мне самому, так это сожаление с моим уходом и развеется. А всем прочим с чего бы жалеть неизвестно о чём?

Тем более что то, о чём успею или не успею рассказать, — это не Бог весть какие откровения, а просто запавшие в память кусочки жизни.

Давно исчезнувшей жизни.

Вот запали они в память и лежат там. Не то чтобы зудят и просятся на бумагу, но как бы смотрят на меня насмешливо: ну и что надумал ты, толкующий об уходе? Так и бросишь нас?

А как их бросить? Ведь это какие ни есть, а дары судьбы. Вернее, приветы, которые послала мне в детстве моя грядущая, неизведанная, неясная судьба. Не пророчества или обещания, а просто приветы. Завязывалось наше с ней знакомство. И было бы неблагодарно с моей стороны не вспомнить на склоне лет об этих самых первых её знаках внимания.

Так что начнём успевать.

### Сковородино

О самых началах, о месте, где я родился, остались в памяти даже не кусочки, а малые крохи. Но как же без них.

Сковородино. Убогий городишко среди таёжных сопок на величайшей в мире железной до-

роге — Транссибирской магистрали. Сочетание несочетаемого — великого с убогим — дело в России обыкновенное. Это едва ли не самая заметная черта и нашей повседневности, и нашего самосознания. Мы живём с этим странным сочетанием в крови, мешая самонасмешку с самопочтением.

— Бог создал Ялту и Сочи, а чёрт — Сковородино и Могочу, — часто повторял отец ядовитую местную шутку. И он же в Москве, где оказался во время отпуска, какому-то случайно встреченному иностранцу с гордостью похвалился, что живёт на Дальнем Востоке, аж за десять тысяч километров от Москвы. Три тысячи кэмэ прибавил батя, не моргнув глазом: знай наших, карликовая Европа!

Великий Транссиб. Чёрные паровозы, их огромные красные колёса, клубы пара на полперрона, тяжкое пыхтенье, постоянные гудки, запах каменноугольного дыма — всё это с первых проблесков сознания со мной. Вот отец за руку подводит меня к путям. Показывая на зелёный пассажирский вагон, уважительно произносит:

— Цельнометаллический!

Отец — начальник вагонного участка, а такие вагоны тогда, во второй половине сороковых, были ещё новинкой. И этот термин, ныне забытый (пассажирские вагоны с деревянной обшивкой кто ж теперь помнит?), стал одним из первых слов, мною выговоренных:

— Цен-мета-лись-кий...

Жили мы в типовом пристанционном доме — деревянном одноэтажном, на четыре крыльца. Узкая, как щель, кухня, небольшая комнатка. Родители на работе, со мной оставлена нанятая



нянька, девчушка лет десяти. Мать прибегает на обед и видит: я на кухне сплю на полу, весь обделавшийся и вдобавок извалявшийся в холодной золе, которую выгреб из печного поддувала. Мать – в комнату. А там моя нянька крутится перед зеркалом платяного шкафа в материнском цветастом платье, достаемом ей до пят, в огромных женских туфлях на тощих ножках, с накрашенными губами...

Бедная девочка, отданная в няньки в нашу совсем не богатую семью за еду и жалкие копейки, жива ли ты? Тебе сейчас, если жива, уже должно быть... да что там! – немало лет. Прости и не сердись на мою мать, выгнавшую тебя...

Пришлось в няньки нанимать бабушку. И бабушки долго к нам ходили. Дело в том, что к детсаду меня, как ни старались, не смогли приучить. Я убегал, прятался от воспитательниц за какой-нибудь забор или в траву, меня находили, но всё повторялось... Один раз искали довольно долго, и после этого мать перестала меня туда водить. Мне не нравилось, что там было слишком много незнакомых детей, и вообще всё не нравилось. Помню, как сижу за детсадовским столиком и враждебно гляжу в тарелку, где по белой манной каше разлилось какое-то тёмно-красное варенье. Ни до того, ни после того я манной каши с вареньем не пробовал и до сих пор не понимаю, почему один её вид вызвал у меня полнейшее неприятие. Которое, между прочим, сохранилось надолго. Когда, уже школьником, я прочитал, что голодному Буратино померещилась тарелка манной каши пополам с малиновым вареньем, то не поверил: неужели деревянному человечку хотелось съесть такую гадость? Всей сказке поверил, а этому обстоятельству – нет.

С манной-то кашей в те годы, к слову сказать, было туго. Это потом, в «тучные» пятидесятые, манной крупой женщины чистили свои модные белые валенки-«чёсанки» – для пущей белизны. А в послевоенном сорок шестом, когда пришло время отнимать меня от груди и давать прикорм, мать не могла достать манки нигде. Ей посоветовали купить на базаре отрубей. Мать их запаривала и давала мне сосать через марлечку. Теперь я слышу, что это вышло даже полезнее для детского здоровья, потому что в отрубях витаминов много, а в манке их вообще нет. Может, и так. Но переболел я в детстве, несмотря на сосание отрубей, очень многими болезнями, как и все тогдашние дети. Хотя говорят, что это тоже было полезно – для обретения иммунитета.

Про бабушку-знахарку, которая молитвами и прищёптываниями избавила меня от жуткой зо-

лотухи, у меня даже стихи есть. Но не писал я стихов про детскую больницу тех лет. Там были две большие смежные палаты. В одной лежали совсем малые дети с мамашами и стоял тяжёлый запах, а в той, где был я, находились детишки посамостоятельней. Не знаю, с какой хворью я туда попал, но был, видимо, плох, потому что поначалу кормили меня с ложечки, в кроватке с высокими деревянными бортами. Когда стало получше, вытащили из кроватки и усадили есть со всеми.

Общий стол, который поставили на время приёма пищи тут же, в палате, был совсем низенький, но очень длинный, в длину всей большой комнаты. Наверное, это были просто доски, на что-то уложенные. По обеим сторонам расселись дети, все стриженные наголо, с бледными лицами. Они смотрели огромными глазами в ту сторону, откуда принесут еду. И её принесли. Это был, надо полагать, полдник, перекус. Расставили тарелки общего пользования: одна с нарезанным чёрным хлебом, за ней другая – с горкой сахарного песка, и так далее, по всей длине стола. Дети стали есть, дружно тыча куски хлеба в сахарный песок. Сидевший рядом со мной мальчик с большой зелёной каплей под носом, жадно откусив хлеба, снова потянулся мокрым от слюны куском к тарелке с сахаром – и зелёная капля, приклеившись к хлебу, потянулась туда же.

Кто-то, наверное, подумает, что если даже приличной манной кашей я побрезговал, то уж ту-ут...

Да ничего подобного! Я просто смотрел, и мне запомнилось. А сам ел или нет – не знаю. Плох был, говорю. Наверное, ел.

Стихи об этом вряд ли напишешь. Однако и обобщений делать не хочется. Ну, было. Мало ли что в этой жизни было. Но ведь лечила же детей больница. И кормила. Я, во всяком случае, вышел из неё здоровым – и ей, сквородинской послевоенной больнице, спасибо буду говорить до конца дней своих.

## Севастополь

Одно из самых первых воспоминаний. Если не самое первое.

Год тысяча девятьсот то ли сорок восьмой, то ли сорок девятый. Уточнить уже не у кого. А мне, значит, или два с половиной, или три с половиной.

Мать по бесплатному билету моего отца-железнодорожника через всю страну приехала вместе со мной в гости к её дядьке. Из холодного Сквородино – в разрушенный Севастополь. Вот идём куда-то, – должно быть, к морю, – и проходим



мимо уцелевшей от бомбёжек закопчённой стены двухэтажного дома. А в стене – прямоугольные дыры окон, и в тех окнах не квартирный полумрак виден, а полуденное синее небо.

Тяжело хромавший мамин дядька жил вдвоём с женой в белой мазанке. Работал он в инвалидной артели, которая рылась в развалинах домов, отыскивая швейные машинки «Зингер» (чьи хозяева или хозяйки, возможно, в тех же развалинах и погибли). Артельщики ремонтировали эту ценную технику, и она шла нарасхват. Возле дядькиной мазанки росли помидоры – их отродясь не выдывали в нашем Сквородино. Я делал, как меня научили: срывал круглый красный помидорчик, а потом совал его под струю воды, нажав рычаг помпы, стоявшей тут же, во дворе. Вода из крана шла белая, известняковая.

Ещё запомнилось: солнце, зеленоватые брызги, мать, смеясь, купает меня в море. В уши попала вода, больно, я ору. Боль была сильная, долго не проходила...

Уже много позже, когда мне исполнилось десять, я в день рождения получил в подарок «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, невзрачную книжку в бумажной обложке из дешёвой «Массовой серии» – была такая замечательная серия классики. Я прочёл эти толстовские очерки тогда же, в десять лет, и, хотя не всё понял, читал с цепким вниманием, особенно про то, как уходили наши, оставляя город врагу. Читал – и горло сжималось от отчаяния. А ещё в те же годы по радио крутили песню о расстреле немцами черноморского матроса: «...шёл моряк, прощаясь с бастионами, с мёртвой Корабельной стороной...»

По-настоящему я увидел Севастополь, приехав туда уже в тридцать лет. Тогда и открылась мне его приморская красота.

Кстати, и белую известняковую воду в крымских кранах тогда узнал. Вспомнил.

И вот что любопытно: не романтическое очарование города заставило дрогнуть что-то в душе, а именно эта, с беловатой примесью, вода – чего в ней хорошего, прости Господи. Дело, конечно, не в воде, а просто она живо напомнила о тех, самых первых, впечатлениях. Чем дальше катятся годы, тем больше убеждаюсь: и жуткие дыры окон в чудом не рухнувшей стене, и пыльные груды городских развалин, и осиротевшие машинки «Зингер», и более позднее потрясение от вычитанного в невзрачной толстовской книжке, и песня о «ветвях израненного тополя», звучавшая у нас в доме из чёрной картонной тарелки радио, и даже моя детская незабываемая боль в ушах от морского купания, – всё это крепче, чем любые красоты, роднит меня с Севастополем.

Что же получается: без разрухи и боли нет любви?

Не знаю. Может быть, и так.

Но знаю, что всё можно вывернуть как угодно. Можно и эту мысль подать с весёлым вывертом: без мазохизма нет патриотизма. Шутить можно по-всякому.

Шуты гороховые тоже зачем-то нужны.

## Писательство. Соседи. Сестра

В Сквородино я научился писать, а потом и читать. Именно в такой очерёдности.

Однажды зимним утром – очевидно, воскресным, поскольку мать была дома, – я вышел погулять. Ночью выпал небольшой снег, и соседи уже успели протоптать через двор тропинку. Иду, щурясь от солнца, и вижу у тропинки на ровном белом снегу вычерченные палкой буквы. Букв я ещё не знаю, но здесь их немного – всего три. Натренированным глазом рисовальщика, всегда готового изобразить, что на ум взбредёт, запоминаю конфигурации. Вернувшись домой, воспроизвожу карандашом на бумаге.

– Мама, прочитай, что я написал.

Мать глянула – за голову схватилась:

– Кто тебя научил?

– Никто. На снегу так написано.

Тут она явила чудеса педагогической дипломатии.

– А давай, – говорит, – учиться читать! Ну-ка носи книжку-раскладушку.

Я принёс. Это была картонная раскладушка кустарного производства. Самоделка, в сущности. Отец её купил в вагоне у немых продавцов – ходили тогда такие в поездах, жестами предлагали пассажирам купить игральные карты, открытки с кошечками и прочее. В книжке-раскладушке была изображена в картинках, довольно примитивных, история похождения бравого солдата старой русской армии. Стихотворные подписи мне читали много раз, и я их помнил наизусть:

Шёл солдат с войны – нашёл подкову и часы.

Продал подковку – купил сороковку,

Продал часы – купил колбасы,

Напился, наелся – и сделался царём.

Не захотел быть царём – сделался попом.

Не захотел быть попом – сделался звонарём,

Не захотел быть звонарём – сделался извозчиком,

Не захотел быть извозчиком – сделался разносчиком.

И так мотался, болтался, пока к чертям в ад не попался.

На последней картинке были чёрные черти с рогами и несчастный солдат в красных языках адского пламени.



– Ну вот, смотри и повторяй: «Шёл... солда-ат...»

Мать принялась медленно читать, водя пальцем под строчками. Буквы в этих строчках, написанные неизвестным художником от руки, были совсем не такие прямые и чёткие, какие я видел на снегу. А между тем моя бумажка с копией трёх чётких букв благополучно исчезла. Я про неё совсем забыл, разбирая вместе с матерью по танцующим разухабистым буквам слово «с-о-л-д-а-т», но в этом, очевидно, и состоял хитрый педагогический ход. Утомившись грамотой, я пошёл играть.

Зато на другой день в доме появилась детская книжка с картинками. Называлась она «Ясочкина книжка». Там были стишки про хорошую девочку. Но главное, там были аккуратные ровные буквы.

Мать несколько дней читала мне эти стишки вслух, по ходу показывая, где какая буква. И вот, в очередной раз открыв вместе со мной книжку, она удивилась: «Это ты сам?..»

Там, где были нарисованы игрушки девочки Яси, под каждой красовалась моя карандашная подпись: под конём на колёсиках – «КОН» без мягкого знака, под куклой – «КУКЛА» с «у», повернутым в обратную сторону, под щенком – «ЩИНОК», под плюшевым Мишкой – «МЕД-ВЕТ».

Прошло ещё немного времени – и «Ясочкину книжку» я прочитал самостоятельно, без подсказок. Но заметьте, что сначала она была мною – пусть частично, пусть на малую долю – но написана! Или, если угодно, дописана. И радость писательства я остро ощутил.

Гораздо более интересную книжку показал мне соседский мальчик Шурик Мурдасов. Точнее, не книжку, а журнал «Мурзилка». Там были большое зелёное дерево, и волк, и ступа с Бабою Ягой, и кот на жёлтой цепи... И стихи про Лукоморье. Там я впервые увидел портрет Пушкина. Это «Мурзилка» отмечал сто пятьдесят лет со дня рождения поэта – о чём я спустя годы догадываюсь, прикинув даты.

Мурдасовы были семья интеллигентная, а сам Шурик был вежлив и рассудителен. У него имелся набор разноцветных деревянных кубиков, шариков, плашек и конусов. Шурик выстраивал из них затейливые дворцы, арки, башенки – и всякое такое сооружение называл удивительным словом «красиват». А ещё у них я впервые попробовал сыр: родители, уходя на работу, оставили Шурику на блюде два тонких ломтика, пустивших слезу, и он со мной поделился. Сыр оказался необыкновенно вкусным. А какой у него был тонкий, вол-

нующий запах! Прочитав потом у Крылова, как «сырный дух Лису остановил», я Лису понял. Это вам не манная каша Буратино!

Но Мурдасовы вскоре уехали. Далеко, в Латвию. Машины сковородинские подружки не могли запомнить название города, потешались: Гавгав-пилс – тьфу ты!

Остался у меня один сосед-ровесник – серьёзный такой татарчонок Марик Сиродеев. По-русски он говорил забавно: мамка пришёл, мамка ругался. Отец у него был милиционер, службу нёс при железнодорожном вокзале, ходил туда с длинной шашкой в чёрных ножнах на боку. Она меня очень впечатляла, эта шашка. Потом мы поменяли квартиру, и Марика я больше не видел.

А квартиру – более просторную – родители мои стали просить недаром.

Откуда ни возьмись – так мне теперь представляется – появилась сестрёнка. Нет, наверняка я видел мамин растущий живот, и наверняка мне говорили: скоро у тебя будет сестричка или братик, ты кого хочешь? – и тому подобное. Но вот не помню я этого! Зато помню, как её вдруг привезли в нашу ещё старую квартирку и положили на кровать в комнате. Родители сидели на узенькой кухне за столом, молодые и счастливые, а я, крутившийся рядом, то и дело спрашивал:

– Можно я посмотрю Наташку?  
– Ну иди посмотри! – улыбались они. И я бегал смотреть. Сестрёнка тихо спала. А иногда просыпалась и спокойно глядела на меня большими глазами, тёмно-карими, как у отца.

Длинных декретных тогда не было, и скоро очередная нанятая бабка-нянька должна была присматривать уже за нами двоими.

## Каустическая сода. Явление Маргариты. Розовая сопка

Новая квартира была намного больше – две просторные полупустые комнаты, – но запущенная, серая, неуютная. Мать яростно взялась приводить её в порядок: скребла, белила, красила... С ног падала от усталости, – зато как гордилась преобразённым жильём.

И с каким же потом отчаянием она выкрикивала приходившим соседкам, показывая на сверкавшие свежей краской полы, двери, оконные рамы, на ослепительно белые стены:

– Ради чего надрывалась? К чёртовой матери! Всё вымажу каустической содой!

Соседки сочувственно кивали. Я сторал от любопытства: какая сода? Мать сердито объяснила: это такая сода, которая всю квартиру сделает



страшной и уродливой. И я с испугом представил себе обезображенное оспой лицо слепого дядьки, раза два виденного мною на улице.

А всё дело в том, что едва мать закончила ремонт, как отцу предложили новое место работы – в Завитой. Он туда съездил, и ему понравилось. Там и с продуктами лучше, и климат теплей – даже помидоры растут. Вот мать и впала в отчаяние: а пораньше не могли предложить? До каустической соды всё же не дошло. Повезло кому-то въехать в чистенькую квартиру – ну так что ж теперь...

Мне же, прощаясь с родным городом, хочется привести ещё две памятные подробности.

Как-то, уже на новой квартире, я простыл, поднялась температура, и пришла детский врач. Её звали Маргарита Исаковна. Она наклонилась над моей постелью, и я с неведомым до той поры восторгом увидел перед собой сверкающие чёрные глаза, яркие губы в красной помаде, ниспадающие тёмной волной волосы. Она что-то спрашивала, я что-то отвечал, глядя на неё как заворожённый.

Когда врач ушла, я долго лежал в задумчивости. Потом захотел поделиться с матерью этим непонятным, но почему-то так растревожившим меня впечатлением. Стал искать нужные слова. Такие нашлись. Они были усвоены мною из лексикона маминых подружек, приходивших обменяться своими женскими мнениями обо всех и вся. И я, подозвав маму, сообщил ей солидным тоном человека, который знает цену тому, о чём говорит:

– А Маргарита Исаковна *симпатично выглядит на лицо!*

Наверное, было потом подружкам над чем повеселиться.

Конечно, смешно.

Но тем не менее я видел *Маргариту*. А это уже отчасти и серьёзно. Не так ли?

К сожалению, в моей детской памяти почти отсутствует сковородинская природа. Проблеском видится лишь одна картинка: сочная зелень травы и быстрая серебристая вода (река Ольдой?), весёлые лица отца и его друзей, протянутый мне ломтик зелёного огурца. И почему-то слышится слово «маёвка», хотя, судя по огурцу, это явно не май, а лето. Может, «маёвкой», в пролетарской традиции, называли и летний пикник? Поди теперь узнай.

Тамошняя природа приоткрылась мне позже. Когда я уже закончил первый класс, мы на несколько дней приезжали с отцом из Завитой в Сковородино погостить к деду моему, Филимону Михайловичу. У него, бывшего украинского колхозника, приехавшего после войны на Дальний

Восток к сыну, пенсии не было (много позже её всё же назначат – восемь рублей тридцать копеек), и он зарабатывал тем, что пас по склонам сопки частных коз.

А домик деда, где они жили с бабкой, стоял на самой окраине, вплотную к лесу. В их тесной халупке мне было скучно, и я пошёл погулять. Поднялся на пологий склон сопки – и попал в заросли багульника. Высокие, много выше моего роста кусты сплошь утонули в розовых цветах. Помню своё изумление: мне показалось, что ничего там больше и нет, кроме розового цвета и розового света. Я шёл и шёл в этом расплывчатом акварельном великолепии, пока не понял, что могу и заблудиться. Но не испугался, а продолжал шагать, сворачивая то на одну тропку, то на другую, охваченный отчаянным, весёлым куражом. В конце концов вышел из розового на обыденное, не цветное, и долго стоял, с трудом соображая, в какой стороне находится дедов дом.

Набрел я не раз в другие годы в других краях на заросли цветущего багульника – рододендрона по науке, – но такого пьянящего, колдовского разгула цвета и света больше не встречал.

## Переезд в Завитую

Отец уехал первым, перевёз вещи, вышел там на работу. А потом и мы втроём – мать, я и годовалая Натка – отправились в путь в переполненном плацкартном вагоне.

Мать неотлучно была при сестрёнке, а я из любопытства пошёл на вылазку. В соседнем купе четверо мужиков, сидя на нижних полках, шлёпали костяшками домино по фанерному чемодану с железными уголками, приспособленному в качестве стола. А за мужиками, на столике у окна, где дребезжали в подстаканниках стаканы с остатками чая, я увидел такое, что сразу забыл обо всём на свете.

Поймут ли меня нынешние дети? Они смотрят цветной телевизор, у них смартфоны с красочным экраном, у них и игрушки одна другой нарядней, и сами они одеты, как игрушки, а на улице вечером выйдут – там цветное буйство реклам... Нас же в те годы и в доме, и во дворе, и на улице окружало в основном серое и тусклое.

Так вот, сокровищем, пленившим меня, была плоская картонная коробочка из-под папирос. Из-под дорогих папирос – у отца я таких не видел. На коробочке была цветная картинка: на зелёном поле два борца в спортивной форме стоят друг против друга, изготовившись к схватке.

Картинка была словно окошко в сказочно яркую жизнь.



Мне невыносимо захотелось заполучить красивую коробочку. Томимый этим желанием, я пошёл дальше по вагону, заполненному людьми, узлами, мешками, гулом голосов, запахами пота и табачного дыма. Всё тот же тусклый серый мир.

Я не выдержал и, вернувшись, снова мучительно залюбовался цветным сокровищем. Доминошники продолжали игру, не обращая на меня внимания.

И я подумал: попрошу у них коробочку! Может, отдадут... Но не посмел попросить – слова в горле застряли.

Опять пошёл по вагону, размышляя: она ведь этим дядькам не сильно и нужна, они курят другие папиросы, а в красивой коробочке просто держат свои доминошки. Ну так пусть положат эти костяшки во что-нибудь другое...

Наконец я решился. Снова подойдя, тронул за рукав мужика, что сидел поближе, и с замиранием сердца выговорил:

– Дяденька, а можно мне вон ту коробочку?

Мужик, мельком глянув, куда я показывал, покачал головой:

– Нет, пацан, она нам нужна. – И углубился в игру.

Я отошёл. От стыда и обиды перехватило дыхание. Слезы, моментально заполнив глаза, волшебным сверканием расцветили тусклый серый мир.

Так впервые я познал унижение.

Это был благодатный опыт. Мне потом, разумеется, часто случалось у кого-то что-то попросить. Но выпрашивать – никогда.

## На новом месте

Особой разницы в климате не почувствовалось. Зябкая поздняя осень, потом холодная зима. Квартирка, где мы в Завитой поначалу приютились, была, как и первая сковородинская, с узенькой кухней и маленькой комнатой. Помню нагромождение полураспакованных пожитков. Сестрёнка Натка спала в жестяной ванне, в которой нас и купали. Эту «колыбельку» мать то на кровать свою приткнёт, то на кухонный стол... Однажды раздался грохот, мать метнулась из комнаты в кухню, я за нею, – а ванна на полу валяется, и сестрёнка рядом. Но, каким-то чудом, даже без ушибов обошлось...

Скоро мы перебрались в дом неподалёку, в квартиру попросторнее. Там в январе наступившего 1952 года я на своё шестилетие получил в подарок чайную чашку.

Этот дом, как и все пристанционные дома типовой застройки времён прокладки Транссиба –

добротню срубленные, крашенные охрой и суриком, – был на четыре подъезда, а проще говоря, на четыре крыльца.

Два крыльца были со стороны улицы, а два других, в том числе и наше, выходили в большой двор. По ту сторону двора стояла добротная, как и сам дом, бревенчатая хозяйственная постройка, где на каждую семью имелись тёплая стойка для скотины и чердак для сена. А слева и справа, за заборами, располагались огороды. По обширному голому двору часто бродили куры и свиньи, которых хозяева выпускали прогуляться. А вот ребятшек я почти не видел. Если какой мальчишка и пробежит, так лишь мимоходом.

Наш подъезд был на две квартиры. С нами соседствовал дядя Коля Грешников, худой как смерть, с жёлтым лицом, да ещё и согнутый в дугу. Ходил он медленно и всегда глядя вниз. Если к нему обращались, то дядя Коля, чтобы увидеть говорящего, выставлял вперёд одну ногу и откидывался всем корпусом назад: разогнуть ссутуленную спину он не мог. Часто, остановившись среди двора, громко и натужно отхаркивался, сплёвывая на землю. Говорили, что, когда дядя Коля, ещё до войны, служил в армии, лошадь ударила его копытом по спине, и с тех пор он болел туберкулёзом. Жил он с женой и дочкой – старшеклассницей Валею. Удивительно, но у такого больного отца дочь была – просто кровь с молоком, так и брызгало от неё здоровьем и весельем. Дядя Коля любил выпить, а поскольку пенсия у него была крохотная, пил он то, что стоило копейки, – денатурат. На бутылках с фиолетовой спиртовой жидкостью был нарисован череп с двумя перекрещёнными костями. «Коньяк три косточки!» – подмигивал народ. Как ни странно, продавался этот, в общем-то, яд в продуктовых магазинах, там же, где сахар, крупа и прочее. Что тут скажешь? А ничего. В то жёсткое послевоенное время власть учитывала не только потребности, но и возможности покупателя. Всякого покупателя.

Надо заметить, что пил дядя Коля хоть и сущую отраву, но умеренно. Он был человек серьёзный, читал газеты. Его уважали и жалели, однако тесно общаться с туберкулёзником избегали.

В другом подъезде, выходящем во двор, жила одна семья: муж с женой и дочка, тоже почти взрослая. Глава семьи, дядя Яша, был высокий грузный мужчина с висловатым носом и задумчивым лицом.

Позже я слышал про него такую историю. Дядя Яша выкормил свинью. Колоть свиней он не умел, а нанять кого-то – денег было жалко, и не столько ему самому, сколько жене. И он решил,



что справится сам. Его кто-то научил: ты сперва оглуши чушку кувалдой по башке, а потом коли.

Вот он зашёл в загон, поставил тазик со свиным хлёбвом, открыл дверь стайки и, пряча кувалду за спиной, ласково позвал: «Маша, Маша!» Свинья выскочила и стала есть. Дядя Яша занёс кувалду, примерился – бац! – и чуток промахнулся. Кувалда попала не по темечку, а скользом по уху. Свинья завизжала от боли и, опрокинув еду, шарахнулась в угол загона. Дядя Яша поправил тазик и снова стал зазывать: «Машенька, Маша!» Но сколько он ни заискивал, Маша ему больше не верила. Так и визжала как очумелая, пока её не пристрелил из ружья дяди Яшин знакомый.

### «Назови меня Дёмушкой!»

Вглядываясь в тогдашнего себя, понимаю, что время жизни в этой второй нашей завитинской квартире стало для меня важной вехой. О взрослении в шесть лет говорить смешно, но какая-то внутренняя закладка то ли характера, то ли мировидения начала происходить именно тогда. С того времени я стал ощущать себя собой.

Может, дело ещё и в том, что я часто оставался дома один.

Отец, по своему военному билету всего лишь сержант, носил, как начальник вагонного участка, капитанские погоны (железная дорога была в ту пору военизированной), на работе пропадал днём и ночью. Мать устроилась счетоводом в вокзальный ресторан. Сестрёнка, в отличие от меня, с большой охотой включилась в ясельную, а позже и в детсадовскую жизнь.

Общения с ровесниками у меня поначалу не было. Потом оказалось, что в двух подъездах с другой стороны нашего дома дети есть. Но это выяснится с наступлением тепла, а пока кто-то из них был в школе, кто-то в детсаде, игры они затевали в других местах – чего им было делать в нашем голом дворе? С началом лета у меня появится весёлая шустрая компания – но та зима прошла в квартире.

Итак, две смежные комнаты. В первой – плита, кухонный стол и шкаф, обеденный стол, бачок с водой, рукомойник. И тяжёлый деревянный сундук, на котором я поначалу спал, а потом для меня в дальнем от окна углу поставили кровать. Во второй комнате, обогреваемой печью-голландкой, – кровать родителей, кроватка сестры, комод, платяной шкаф.

Я, оставшись на хозяйстве, выполняю мамин наказ: мою посуду, делаю мелкую уборку. Когда висящая на стене у окна чёрная картонная радиотарелка объявляет передачу для детей, я, повер-

нув зубчатое колёсико, прибавляю громкости и с упоением слушаю какую-нибудь «Снегуркину школу».

Детские книжки у нас были, хоть и немного. Но мне больше помнится «Кому на Руси жить хорошо» – копеечное издание из уже упомянутой «Массовой серии». Длинная некрасовская поэма читалась мною долго. Можно сказать, я в ней обитал. Пропускал непонятные места, зато на понятных останавливался, снова и снова перечитывал. Колыхание белых стихов завораживало, как гипноз.

Но однажды мать пришла на обед, а я весь в слезах.

– Что случилось?

– Ничего!

Сначала отмалчивался, а потом сказал:

– Мама, назови меня Дёмушкой!

– Что-о-о?..

А оказалось вот что. Там, в «Кому на Руси», в главе «Савелий, богатырь святорусский», немощный подслеповатый дед скормил по недосмотру свиньям своего внука. Смерть маленького Дёмушки меня потрясла.

Я хотел жить за него.

### Обзаводимся хозяйством

Как ни занят был отец в своём вагонном участке, а, приходя домой, брал топор, ножовку, молоток с гвоздями и шёл в стайку. Устроил сверху насест для кур, а внизу выгородил места для скотины. Сначала в стайке поселился поросёнок Борька, потом, по настоянию матери, была куплена белая коза Люська – чтобы нам с Наткой было молоко.

А отец, что называется, вошёл в раж – и на крыше общего сарая построил сбоку голубятню. Это его на работе надоумили: подарили пару голубей, да ещё рассказали про деда с бабкой, живших до войны возле конторы «Заготзерно». Дед держал много голубей, которые кормились дармовой пшеницей, горами лежавшей рядом, за забором, под навесами заготовительной конторы, и поэтому содержание птиц не стоило старикам ни копейки.

Тут скажут: ну да, не стоило... Наверняка на них наступали, за ними пришли... Да, возможно, так и было. Но когда я слушал, как отец пересказывает эту историю маме, я подобные детали то ли пропустил, то ли не понял. Да отец и не собирался красть для голубей пшеницу – её и на колхозном базаре в Завитой было полно, причём дешёвой. Он рассудил, что держать голубей будет для семьи выгодно. Ведь те дед с бабкой пи-



тались, словно в прежнее время господя: у них всегда была на столе и варёная голубятина – ох и вкусная, говорят, зараза, – и супы мясные, и всё что хошь. Яйца варёные ели, как картошку.

Мать затею не одобрила, но отец настоял на своём. Через какое-то время – была уже ранняя весна – он подвёл меня к голубятне:

– Ну, залазь, посмотри на птенцов.

Я залез по сколоченной из реек лесенке наверх и заглянул в открытую дверцу. Там лежали, беспокойно пошевеливаясь, три странных существа: большие, размером, как мне показалось, со взрослого голубя, но при этом голые, угловато-уродливые, – ничего в них не было птичьего.

Много позже я вспомнил тех голых птенцов, увидев на картинке динозавра.

Птенцы выросли, и пришло время, когда мать поставила на стол тарелку с варёной голубятиной. Сама за стол не села, сказала:

– Это божья птица. Есть голубей – грех!

Вот что любопытно. Не было у нас дома икон – и быть не могло в семье коммуниста. И ни разу я не видел, чтобы мать крестилась, не слышал, чтобы украдкой шептала молитвы. И со мной разговоры о Боге не заводила. Но когда я, уже школьником, уверял её, что Бога нет, она резко обрывала:

– Молчи! Есть ли, нет ли – не твоё дело!

Отец, хоть и был партийным, на эту тему рассуждал благодушно.

– Бога, конечно, нет, – говорил он. И, многозначительно подняв палец, добавлял: – Но что-то есть!

Теперь, прожив жизнь, прихожу к выводу: в вопросе о существовании Бога я ни на миллиметр не продвинулся дальше моих родителей.

Ну а белое голубиное мясо вроде и правда было вкусным. Вот только осуждающий вид матери, с каким она ставила тарелку на стол, а также воспоминание об уродливых птенцах сделали своё дело: особой радости от той еды я не помню.

Голуби вскоре то ли улетели, то ли кто их украл. И отец разобрал голубятню.

Зато белая коза Люська была у матери в почёте, потому что исправно давала ковшик молока. Меня же привлекали её крепкие рога: я любил ухватиться за них и с силой потянуть. Но Люська мне заигрывать не позволяла: наклонив бородастую голову, давала понять, что эти рога быстро доберутся до моих рёбер. Её самостоятельность и чувство собственного достоинства вызывали уважение. А ещё поражала козья ловкость. Когда пошла трава, Люську стали выводить за огород, на лужайку у придорожной канавы, и привязывали

к столбику забора на длинной верёвке. Однажды я увидел, как Люська забралась на раскидистое деревце молодого карагача и спокойно объедала листья на полутораметровой высоте.

А в стайке подрастал кабанчик Борька. Летом его, уже подростка, как-то выпустили во двор погулять. Тогда свиньи свободно бродили по всей Завитой, рылись под заборами, валялись в лужах. Это дело запретят лишь года через три, где-то в середине пятидесятых. Ну так вот, я Борьку окликнул, подошёл, почесал ему за ухом – и тут меня осенило...

У нас дома, в числе нескольких детских книжек, был сборник звонких, пружинистых стихов Сергея Михалкова. И вот, вообразив, что я – «лихой наездник Али-бек на рыжем скакуне», хватаюсь обеими руками за Борькину жёсткую редкую щетину на загривке и, задрвав ногу, вскакиваю ему на спину.

Борька замирает на миг – и с утробным визгом срывается с места. Я тут же слетаю наземь, обдираю локоть и коленку. Какую-то долю секунды, может, и продержался «в седле».

Но это дало мне основание уже довольно скоро в разговорах с появившимися у меня приятелями «вспоминать», что я, «когда был маленьким», *катался* верхом на кабане.

Такова бывает порой степень достоверности наших мемуаров.

А вот тут – стоп! Эту фразу – о достоверности мемуаров – я вставил, чтобы подпустить ироничности, не более того. А написал – и тут же с удивлением осознал, что дальше-то мой рассказ ну никак не обойдёт такого рода «мемуарную» тему.

Воистину, *процесс писания о жизни так же полон неожиданностей, как и сама жизнь*.

Что ж, пора представить новых знакомых. И в первую очередь того, кто не сразу, но со временем проявит себя как очень даже незаурядный «мемуарист».

## Мир стремительно расширяется

Начало лета. Я в одиночестве играю в пустынном дворе. Какую-то палку превратил в винтовку и бегаю с ней в атаку. Вдруг слышу:

– Эй, парень, тебя как зовут?

Оглядываюсь: у крыльца дяди Яши стоит незнакомый мальчик, намного старше меня – лет, наверное, двенадцати. Он вышел из-за дома, с той стороны, что обращена подъездами на улицу.

– Владик, – говорю.

– А меня – Арик. А что ты один играешь? Иди к нам!



Я пошёл за ним на другую сторону дома – и оказался... в другом мире.

Да, именно так!

Если с нашей стороны дома наводил тоску голый, изрытый свиньями двор, да и с этой стороны возле другого крыльца хоть и росли два-три тополя, слегка оживляя вид, но всё равно виделась неухоженность, то крыльцо квартиры, где жил Арик, выходило в уютный огороженный дворик. Сбоку от усыпанной мелкими камешками дорожки, ведущей от крыльца к калитке, стояла небольшая беседка под шатровой крышей на четырёх столбиках. Со всех четырёх сторон беседки уже начали подниматься по натянутым шнурам ростки вьющихся растений – вьюнков. Я ещё не знал, что к середине лета эти вьюнки поднимутся до самой крыши беседки и образуют зелёные стены, украшенные лиловыми колокольчиками. Но и без того всё здесь было красиво. Повсюду – у крыльца и вдоль изгородей – были вскопаны маленькие клумбы, огороженные кирпичами и засаженные цветочной рассадой, а огород за низким штакетником чернел и зеленел ровными грядками.

Всё деревянное было выкрашено: штакетник – зелёной краской, крыша и столбики беседки – синей, а крыльцо – ярко-жёлтой: чисто вымытое, оно так и сияло на весь дворик. А на этом праздничном крыльце сидел на венском стуле дед с белой бородой, в соломенной шляпе и круглых очках (когда я потом увидел портрет Мичурина, то поразился: ну точь-в-точь!). В руках у деда был журнал. «Новый мир» – успел я разобрать на обложке.

Дед, сняв очки, посмотрел на меня, я сказал: «Здрасьте!» Он не ответил.

– Он плохо слышит, – сказал Арик и крикнул: – Деда, это Владик, наш сосед!

Дед кивнул и, более не проявляя ко мне интереса, снова надел очки и раскрыл свой журнал. А из беседки вышли три мальчика.

– Это Владька, – сказал им Арик. Потом по очереди указал на всех троих: – Это Эдя... Это тоже Эдя... А это Вова... – И спросил меня: – Пойдёшь с нами играть в пиратов?

– В кого? – не понял я.

– Ну ты даёшь! – весело сказал Арик. Остальные заухмылялись.

– В морских разбойников, – пояснил Арик.

– Пойду! – немедленно согласился я.

– Это у тебя винтовка? Давай поменяемся! – Он взял мою палку за конец, повертел ею в воздухе и сделал колющий выпад. – Это будет моя шпага. А тебе – вот, держи!

– Ух ты! – выдохнул я, когда он протянул мне нож, красиво вырезанный из дерева, с затейливой рукояткой. По деревянному лезвию, широкому и

злодейски кривому, шли выведенные химическим карандашом лиловые буквы.

– «Царство небесное!» – прочитал я вслух. – А это что такое?

– Так положено у пиратов, – сказал Арик.

Но сначала представлю новых своих приятелей, которые составят мне компанию на следующие полтора-два года.

Во-первых, два Эди. Один – Эдя-Брэдя – года на два старше меня, маленький, худенький, вёрткий, как юла, был двоюродным братом Арика. «Эдя-Брэдя съел медведя» – так его дразнили, но только когда хотели вызвать на неминуемую драку: в ярость он приходил мгновенно. Его считали «психическим», и он этим даже щеголял. Охотно показывал, как у него пальцы трясутся «от нервов».

У другого Эди фамилия звучала как торжествующее рычание – Гржабовский. Такую фамилию без разбега не произнесёшь, и её выговаривали в облегчённом варианте – Грыжабовский. На кличку «Грыжа» он не обижался, но его, в отличие от Эди-Брэди, лишний раз злить не следовало: крепкий и отчаянный Эдя-Грыжа никому спуска не давал. А самым добродушным был Вова, высокий, белокурый, с развалистой походкой. Его кличка «Кобыла» была произведена – вы не поверите! – от фамилии Коваленко. Я, самый младший из всех, тоже немедленно обзавёлся кличкой, и тоже по сомнительному созвучию: был Владька, а стал Лапка, – через год-другой, впрочем, «повзрослев» до Лапы.

И только у самого Арика, заводилы нашего, никогда не было клички. Хотя и полным именем – Артур – его стали звать уже, пожалуй, лишь после того, как он отслужил армию и женился.

Итак, мы пошли играть в пиратов?

Ну что на это ответить... Я мог бы написать, что мы отправились, скажем, в пустынный школьный двор неподалёку, бегали там и кричали: «На бордаж!», размахивая деревянным оружием, а потом добродушный пират Вова-Кобыла нечаянно заехал локтем в нос чересчур вертлявому пирату Эде-Брэде, и у того пошла носом кровь...

Что касается случайных и неслучайных тычков в нос, то такое, конечно же, бывало. Однако не помню, чтобы это произошло именно тогда, в первый день знакомства. И самой игры в пиратов совершенно не помню. Да и бог с ней. Мне сейчас важно не заполнять пустоты памяти, сочиняя правдоподобные сцены (что было бы легко и приятно!), а по мере сил восстанавливать и осмысливать те – к сожалению, отрывочные – картинки, которые хаотично, но прочно застряли в сознании.



Хотя вот загадка: очень скоро у меня появлялись и другие приятели, в других дворах, и там мы будем «сражаться» на палках, а зимой спихивать противника с «крепостных стен» – куч мёрзлого коровьего навоза (в Завитой у многих были коровы), или до темноты играть в войну, «стреляя» друг в друга из-за угла («Тр-ра-та-та! Я тебя первый убил!»). И у меня перед глазами эти забавы до сих пор мелькают, как живые.

Так почему же те игры, которые устраивал Арик, я, как ни силюсь, не вспомню?

Да потому что игр, в обычном понимании, пожалуй, и не было.

А что же было?

А была необычная личность нашего заводилы.

С виду этот подросток ничем особым не выделялся...

У пишущей братии часто возникает необходимость, нарушив хронологию повествования, сообщить о том, что произойдёт в дальнейшем, а потом вернуться к прерванному течению событий. И вот пишут: «Забегая вперёд, скажу...»

Мне тоже придётся иногда пользоваться этим оборотом. Итак:

### *Забегая вперёд*

Некоторая необычность в его внешности образуется лишь с годами. Когда Арик вырастет, а потом заматерееет и начнёт стареть, когда шапка курчавых каштановых волос поредееет, спина ссутулится, а лицо пожелтеет от злостного курения, он, странным образом, ещё долго – лет, я думаю, до шестидесяти, – будет сохранять свою подростковую худощавость, лёгкую походку и живость карих глаз.

Однако и в юные, и в зрелые годы он при первом знакомстве у многих вызывал удивление – а следом, как-то само собой, и уважение – своей внутренней непохожестью на других. Сразу и не скажешь, в чём именно проявлялась эта непохожесть. Может быть, в его манере, плотно сжав губы, внимательно слушать собеседника, порой издавая короткий смешок, сразу располагавший к себе. В том, как он на любой вопрос давал ответ, заставлявший по-новому взглянуть на дело. В том, как мог обескуражить неожиданным замечанием, которое запоминалось надолго. Расхожих банальностей я от него за всю жизнь не слышал.

Стоит рассказать про короткую судьбу моего пиратского ножа. Вечером я принёс его домой и похвастался: «Мама, смотри!» А она, увидев надпись «Царство небесное!», пришла в ужас: «Нельзя такое писать!» Попыталась нож переломить, но

не смогла. И тогда пришёл мой черёд ужаснуться: она схватила кухонный нож и, шепча: «Господи прости!» – стала неловко, но яростно обстригивать эту замечательную вещь со всех сторон, пока не осталась дурацкая палочка. Наверно, если бы дело было зимой, она бы просто бросила деревянный нож в горящую печь.

На другой день я виновато сообщил об этом Арику. Он удивлённо помолчал, словно обдумывая случившееся с какой-то новой для него точки зрения, а потом засмеялся и сказал: «Ну и ладно!»

Он уже подростком многое умел. Хорошо рисовал. Мог из куска дерева вырезать что угодно – мой злополучный пиратский нож лишь малый тому пример. Первым на нашем квартале освоил фотодело – и других научил, в том числе и меня. Но главное – Арик был зажигательный рассказчик. Игры, которые он затевал – в пиратов, в мушкетёров, в индейцев, – собственно играми и побыть-то не успевали, а сразу же превращались в пересказы книжных историй, обильно сдобренные его собственной фантазией. Мы слушали – и мир для нас распахивался так широко и многоцветно, что дух захватывало.

Вот он сделал шпагу – с клинком из толстой стальной проволоки, с красивой рукоятью и никелированной чашечкой гарды (уж не знаю, от чего была эта чашечка, – от будильника, что ли). Дал нам шпагой полюбоваться, а потом, держа её в руке, начал пересказывать книжку «Королева Марго». При этом время от времени фехтовал с воображаемым противником, делая повороты, уклоны и выпады, и каждому из нас по очереди давал проделать то же самое. Не знаю, как другие, но я, сжимая рукоять шпаги, до холодка в груди ощущал себя отважным гугенотом на тёмной улице Парижа.

Захватывающих событий в «Королеве Марго» оказалось много, и на другой день Арик продолжил свой пересказ по дороге за город, к берёзовой роще, куда вся наша компания отправилась за жёлтыми саранками. Нарвать их попросила, кажется, бабушка Арика и Эди-Брэди. Мы шли и слушали продолжение, вразнобой восклицая: «Ого!.. А чё дальше?..» Вышли за город, прошли по бульжной «сашейке» (шоссейке), свернули на просёлочную дорогу. Зелёная ширь поля, синее высокое небо – а я иду, ничего толком не замечая: всё на свете заслонило для меня прекрасная королева и храбрые французы, особенно отчаянный «Демуи» (так Арик произносил имя Де Муи). У этого Демуи конь совершал какие-то невероятные по длине прыжки (привирал и перевирал рассказчик, как я теперь понимаю, безбожно).

Под ногами, в жёлтой суглинистой пыли просёлка, что-то сверкнуло серебром – наверное, се-



ребристая обёртка от шоколада. Я хотел её поднять, да заслушался и не поднял, прошёл мимо.

Навстречу проехал на малой скорости мотоциклист, внимательно нас оглядевший и на той же малой скорости проследовавший дальше к городу. Нарвав у рощи цветов, мы отправились домой. И снова нам встретился тот же мотоциклист, он опять оглядел нас, но, снова ничего не сказав, медленно укатил к роще.

А когда мы уже подходили к нашему дому, Эдя-Грыжа запустил руку в карман и вытащил наручные часы на широком браслете, сверкающем серебром. Ценность немислимая! Даже я, всё ещё погружённый в блеск и ужас Варфоломеевской ночи, понял, что это и была та самая, лежавшая в дорожной пыли, «обёртка от шоколада».

«Ух ты!» – вскрикнул Эдя-Брэдя. «Ни фи́га-а себе!» – протянул Вова-Кобыла. В этих восклицаниях были и восторг, и зависть, и немалый испуг.

Арик с интересом рассмотрел потрясающую находку, а потом пожал плечом и спросил: «Ну и что ты с ними делать будешь? Прятать?»

Не помню, что ответил Эдя-Грыжа. Тема часов больше не возникала.

Такой уж Арик был правильный подросток? Ну... не совсем.

У их седобородого деда, похожего на Мичурина, в конце огорода росло несколько кустов чёрной смородины. Это была заманчивая редкость: в те годы почему-то ни у кого из наших соседей ни смородины, ни малины в огородах не было.

Эдя-Брэдя однажды, глядя на те кусты, посетовал:

– А ягоды уже крупные! Я просил – а деда не разрешает.

– Зелёные ещё, – ответил двоюродному брату Арик.

– Ну и что? – Эдя-Брэдя даже подпрыгнул: так ему хотелось попробовать ягодок. Я, глядя на него, тоже захотел.

А дед сидел на крыльце. Читал газету, но время от времени снимал очки и поглядывал вокруг. Весь огород был в поле его зрения.

У Арика глаза вдруг зажглись новой идеей:

– А хотите поиграть в индейцев?

Зашёл в беседку. Там лежал моток дедова шпагата. Арик отмотал и складным ножичком отрезал метра полтора, потом ещё столько же. Повёл нас за ограду, где росли при дороге тополя, и срезал шесть тополиных веточек – все они были в широких зелёных листьях.

– Вот так индейцы маскируются от англичан! – И три веточки примотал шпагатом на спину Эде-Брэде, а три – мне.

Подошёл к забору, оглянулся: не смотрит ли кто чужой? – и, приподняв одну из штакетин за нижний конец – она там плохо держалась на ржавом гвозде, – отвёл в сторону. Получился лаз. От этого места через весь огород шла между грядок глубокая межа – прямо к смородиновым кустам. Арик скомандовал:

– Ложитесь в межу и ползите. Деда вас в маскировке не увидит. Много не рвите. Когда поспет, нам же больше достанется.

Юркий Эдя-Брэдя ловко, не задев штакетинами веточки на спине, проник через лаз в огород, лёг в межу и пополз, работая локтями и коленками. Его тополёвая маскировка и правда сливалась с зеленью грядок. Я пополз за ним. Сердце бешено колотилось, было и весело, и страшновато: а ну как дед всё же заметит?

Доползли – и сразу бросили каждый себе в рот по целой кисточке ягод. То, что смородина неспелая и кислая, нас не смущало. Тогдашняя пацанва летом какую только зелень не жевала – и траву кислицу, и конский щавель, и молодые листья черёмухи, и жёлтые цветки одуванчиков, и даже их истекающие горьким молочком цветоножки.

Со вкусом жуя и причмокивая, мы с Эдей-Брэдей срывали ягодные кисточки и совали их за пазуху, но сквозь кусты зорко поглядывали на читавшего газету деда, готовые замереть и затаиться.

Чувствовал ли я себя воришкой? Нет, конечно. Я чувствовал себя индейцем.

И так оно, пожалуй, и было.

## Снова сиделец

Весёлым запомнилось мне то славное лето пятьдесят второго года! Помимо частых визитов в уютный дворик, совершал я вылазки и во дворы соседних домов, и в парк, что был неподалёку, завёл двух-трёх новых приятелей. И повсюду бегал в одних трусах и майке, загорелый дочерна, с болезненными пузырями солнечных ожогов на плечах. Босиком – однако непременно в кепке, как было принято тогда.

Но вот у моих друзей опять начались школьные уроки. Мне же семь лет должно было исполниться только в январе, а пока я снова стал квартирным сидельцем. Правда, теперь у меня появились обязанности няньки. Сестрёнку Натку часто оставляли дома, потому что у них в яслях, а потом в садике, то и дело объявляли карантин от какой-нибудь детской заразы.

А ещё в детсадах в те годы всю гуляла вшивость: скорее всего, вшей приносили дети из самых бедных семей. По этой причине всех детсадовских постоянно стригли наголо, а дома многие



мамы обтирали им головы тряпочкой, смоченной в керосине.

И вот сидит сестрёнка на моей кровати – тут ей просторней, чем в собственной кроватке, – и возится с игрушками, склонив большую стриженую голову, украшенную, по обыкновению, пятнами зелёнки. Игрушек не так уж много, но какие-то куклы есть. Помню, например, привезённого отцом с курорта крохотного голого пупсика в такой же крохотной ванночке. Да и я подсуетился: сам сшил небольшую куколку, замотанную в цветной лоскуток, как в одеяльце, а на белом лице (отрезал кусочек от простыни) нарисовал глаза, брови, рот и розовые яблочки щёчек. Натке эта новая игрушка, кажется, тоже понравилась.

А у меня в ту зиму вообще пробудилась охота к рукоделию. И не к тряпичному, а вполне мужскому.

Уже после Нового года мы с матерью в выходной день ходили на фильм «Садко». Совсем рядом, на нашем же перекрёстке, стоял клуб имени Ленина. Это было дряхлое деревянное здание с небольшой статуей (скорее, статуэткой) вождя, укреплённой над входом. Я уже не раз в этом клубе бывал, видел и знаменитого «Тарзана» (и потом со многими другими пацанятами нашего квартала качался на верёвках, подвешенных к тополю, громко вопя «по-тарзаньи»), и блистательных «Королевских пиратов» посмотрел (никакого там ножа с «царством небесным» не было – Арик о нём в какой-то книжке вычитал). Ох, какая же давка творилась у входа в кинозал перед началом детских сеансов! Толпа мальчишек, размахивая синенькими билетами, напирала на бедную контролёршу, стоявшую в дверях. Каждый хотел занять место получше. И в этой давке некоторые, кто поменьше ростом, умудрялись протиснуться мимо ошалелой контролёрши без билета – и сидели потом, задрав головы, на полу перед самым экраном. Смотреть кино – когда оно тебя захватывает – можно и так: я немного позже на собственном опыте в этом убедился.

Да, то были чудесные фильмы. Но цветной «Садко» всех их затмил. Я был ошеломлён и раздавлен этой роскошной сказкой. Статный Садко, прекрасная Любава, в рогатых шлемах грозные норманны, зловещей красоты женщина-птица... А главное – расписные парусные ладьи! Эти пузатые чудо-кораблики просто терзали моё воображение, так и плыли перед глазами и днём, и ночью.

В порыве внезапной решимости я отцовой ножовкой отпилил от соснового полена, лежавшего у печки, толстую чурочку сантиметров пятнадцать длиной – и ринулся в безумную работу. Ни резца, ни стамески, ни маломальского умения у меня не было. Простым кухонным ножом, то и

дело подтачивая его на бруске, не один раз порезавшись, я много дней подряд с ожесточением фанатика обстругивал, резал и ковырял бесформенный кусок дерева.

И она появилась на свет – пузатенькая ладья с мордой то ли зверя, то ли змея на носу! Я раскрасил корпус своими акварельными красками, в середке палубы провертел кончиком ножа углубление, вставил мачту и надел на неё выгнутый, будто раздутый ветром, бумажный парус с нарисованным солнцем.

Мой кораблик плавал в тазу с водой, и, хотя вода смывала с днища акварельную краску, я был не менее счастлив, чем сам отважный Садко в конце фильма.

Эта ладья стала моей первой в жизни победой.

Натка, хотя и сидела частенько на карантине, хотя и стригли её для профилактики наголо почти всё раннее детство, слишком уж болезненным ребёнком тем не менее не была. И только однажды и мать, и отец не на шутку испугались за её здоровье. И я испугался. Ещё бы: ведь я-то и был всему виновником.

А вышло так. Мать купила тоненькую книжку русских сказок с цветными картинками. И я, незадачливый нянька, взялся читать сестрёнке эти сказки вслух. Да с выражением, да с рычанием, с завыванием. А там, в числе прочих, была сказка про Бабу Ягу – и, конечно, картинка со страшной старухой. Я, войдя в образ, до того «довыражался», что у двухлетней Натки от испуга случилось нервное потрясение. Она смотрела на всех как чумная, не понимая, что ей говорят, а по ночам криком кричала – всё ей чудилась Баба Яга. Мать чуть с ума не сошла, не зная, как её успокоить. Пригласили врача, чем-то стали отпаивать. И бабка какая-то приходила, лечила её. Насилу оправилась сестрёнка от наваждения, а я, зная свою вину, накрепко запомнил этот случай.

Но и сам я примерно тогда же испытал сильнейшее потрясение от книжки. Это был «Тарас Бульба» – из всё той же неказистой «Массовой серии». Убийство Тарасом своего сына Андрия... «Стой же, слезай с коня!.. Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почувший под сердцем смертельное железо...» Читая это, я ничего вокруг себя не видел от слёз. Меня сотрясали рыдания.

## Снежёница

Зима подошла к концу. Солнце ярче светило в окно, и я радовался, что скоро снова буду много бегать. «Бегать» у нас означало «гулять». К мате-



ри зашла соседка, из их разговора я понял, что на днях повалит снег – будет *снежённица*.

Мне понравилось это красивое слово: так и виделось в нём густое и плавное кружение снежинок...

Однако снег не выпадал, становилось всё теплей, и меня чаще стали отпускать на улицу.

И вдруг переполох: умер Сталин. Не знаю, как встретил это известие отец, – он был в командировке. А мать ходила расстроенная: нет-нет, да и заплачет. Но особенно я запомнил страх соседской Люськи, школьницы лет девяти. Я вечером во дворе столкнулся с ней, заполошно куда-то бежавшей.

– Владька, ты слышал – Сталин умер! Ой, что теперь будет! Говорят, на нас немцы нападут!

Немцы меня почему-то не беспокоили. А Сталина было жаль. Конечно, не до такого отчаяния и рыданий, как убитого Тарасом Андрия, как казнённого Остапа и как самого Тараса, сожжённого на костре, но всё-таки очень жаль. Я привык, что если о Сталине кто-нибудь упоминал, то всегда с особым почтением, и при этом у говорящего сразу менялись и голос, и выражение лица. Для меня Сталин был человеком почти родным и очень значительным. Я верил, что он может всё-всё на свете.

При нехватке в продаже детских книг мать ещё за год до того купила мне, тогда шестилетнему, учебник «Родная речь» для второго класса. Был там, среди прочего, портрет Сталина в маршальском мундире, а под ним стишки, навсегда засевшие в память:

Новый год над мирным краем.  
Бьют часы двенадцать раз.  
Новый год в Кремле встречая,  
Сталин думает о нас.

Он желает нам удачи  
И здоровья в Новый год,  
Чтоб счастливей и богаче  
Становился наш народ.

Ещё мне нравился виденный где-то снимок: сидят на скамейке Ленин и Сталин, оба улыбаются. Я вообще-то знал, что Ленин давно умер, но этот факт для меня как-то не имел значения. Однажды перед сном я даже размечтался – вот приедут к нам в гости Ленин и Сталин и спросят меня: ты маму слушаешься? Я скажу: да. И мама подтвердит: он у нас и посуду моет. И тогда они подарят мне трёхколёсный велосипед.

Не уверен – то ли в день смерти Сталина, то ли днём позже – прошёл небывалый, для многих памятный мартовский снегопад. И я понял: вот наконец она, та самая снежённица, которую ожи-

дали мать и соседка! Наутро вышел во двор. Там в снегу уже были прокопаны в разные стороны дорожки. Да не дорожки – целые траншеи! Я из них едва выглядывал. Вот бы в войну поиграть или в снежки – да не с кем, все в школе. Погуляв, пошёл домой в радостном удивлении: ничего себе снежённица!

Настал день похорон. Мать, уходя на работу, наклонилась ко мне, приблизив заплаканное лицо с покрасневшими глазами, и то ли строго наказала, то ли умоляюще попросила:

– Сыночка! Сегодня будут давать прощальные гудки – протяжные такие. И депо будет гудеть, и паровозы, и мельница, и маслозавод. Ты, как услышишь эти гудки, сразу стань по стойке смирно – и руки по швам, как солдат... – Она взяла мои руки и показала, как их надо опустить и вытянуть, прижав к бокам. – Да... – вспомнила вдруг. – Натку тоже так поставь, слышишь?

Задержалась перед зеркалом, ещё чего-то там припудрила. Обернулась с порога, умоляюще посмотрела на меня:

– Слушай протяжные гудки – не пропусти!  
И ушла.

Я был взволнован этим наказом. Даже страшновато стало: только бы не сплеховать, не прозевать...

Сел за стол у окна. Чем бы пока заняться? Порисовать, что ли. Огляделся в раздумье. Натка спокойно играла на моей кровати, что-то бормоча под нос.

И тут – гудок за окном!

Я вскочил, вытянул руки по швам – а он уже умолк. Я облегчённо выдохнул: нет, это всего лишь паровоз на станции. Они постоянно дают гудки, и день и ночь.

Снова сел и стал слушать. Опять загудело, я дёрнулся... Но нет, это опять паровоз, короткий гудок. Потом подряд три коротких... А вот, кажется, протяжный?... Я поморгал, соображая, потом вскочил, но стойку смирно принять не успел – гудок затих. Через некоторое время раздался тоже вроде протяжный. Я вскочил, вытянулся – а гудок на полсекунды замолк – и снова прогудел довольно длинно.

Длинно – или протяжно? Как отличить? Я озадачился. Мама не сказала, насколько протяжными будут эти прощальные гудки. И не сказала, когда именно их будут давать – то ли вот-вот, а то ли ближе к обеду. Наверное, она и сама не знала.

Гудки продолжались – то короткие, то подлиннее. Самые обычные пристанционные паровозные гудки, я всю свою жизнь, с самого рождения, слышал их и не обращал на них внимания. А сегодня слушал – и терзался: а вдруг пропущу



тот протяжный, прощальный? И не отдам последней почести самому Сталину! Разве можно будет меня за это простить? Да никогда!..

Посмотрел на сестрёнку, спокойно игравшую на моей кровати, и спохватился: её ведь тоже надо научить стоять по стойке смирно! Подошёл к кровати.

– Ната! Смотри, как я стою! – И встал перед нею, вытянувшись солдатиком.

Она засмеялась:

– Будем игвать?

– Ну да, играть! И ты так же должна стоять, как и я. Поняла?

Но она только хлопала большущими тёмно-кариыми глазами.

– Вот когда гудочек загудит, – стал объяснять я, – мы с тобой оба вот так встанем и постоим. Хорошо? Ну-ка, давай встанем... Вот та-ак...

Я деловито поднял её, поставил на ноги.

– Ручки вот так опусти и прижми. Вот молодчина! Так и стой!

Сам быстро отскочил от кровати и встал навытяжку, показывая пример.

Моя наголо стриженная подчинённая в распашонке, старательно вытаращив глазищи и выпятив большой детский живот, секунду постояла, но, не сдержав на мягкой пружинной кровати равновесия, завалилась на бок. И снова засмеялась.

– Ну что же ты!.. – Я подскочил, поднял её, поставил, но едва отбежал и сам принял стойку, как она снова упала на бок.

Вне себя от досады, я снова поднял её.

– Да стой же ты прямо, не вертись! – И какое-то время попридержал её руками с обеих сторон, чтобы привыкла сохранять нужное положение. А она, поняв, что я недоволен, перестала улыбаться и ещё старательней выпучила глаза и выпятила живот.

А отошёл – опять упала.

– Натка! – сердито прикрикнул я. А она вдруг заплакала.

– Наточка! – взмолился я. – Ну что ты плачешь? Ну давай ещё раз!..

А гудки за окном всё раздавались и раздавались, приводя меня в отчаяние. Короткие гудки, не те, что надо... Но вдруг загудит тот, такой важный, такой... страшно подумать!.. А я что буду делать? Эту дуру Натку поднимать и ставить? И сам буду как дурак...

– Наточка, ты не плачь, ты вот так встань... – упрашивал я, делая очередную попытку. Но опять – всё то же самое.

Я почувствовал, что сам вот-вот заплачу. И правда – не сдержался, заревел. Но продолжал делать свои безуспешные попытки, а время шло,

и паровозные вскрики звучали уже издевательски...

В конце концов пришла на обед мать. А мы с сестрёнкой сидим на кровати, оба в слезах.

– Что такое? – испугалась она. – Владик, что случилось?

Отчаянная гримаса скривила моё зарёванное лицо, и я провыл:

– Не стои-и-ит!..

– Что-о-о? – оторопела мать. Недоумение, появившееся на её лице, вдруг сменилось ещё большим испугом, даже ужасом. Она побледнела.

А меня прорвало.

– Натка не стоит! – выкрикнул я. И, захлёбываясь слезами, обрушил на мать всё, что почти полдня изматывало меня. – Она не может, как солдат... Падает и падает... А если вдруг гудок?.. Который протяжный?.. А мы-ы... Руки по шва-а-ам...

Я изливал матери свои безысходные муки, а она слушала – и ужас постепенно сходил с её лица.

– Господи! – выдохнула с облегчением, прижав ладонь к груди. Слезы блеснули в голубых глазах, она криво улыбнулась, но тут же всхлипнула. Достала платочек, вытерла глаза. – Ой, горюшки вы мои бедные!

Села на кровать, прижала нас обоих к себе с двух сторон и целовала, виновато приговаривая:

– Успокойтесь, хорошие мои! Не нужно стоять смирно! Не слушайте больше гудки. Всё прошло, всё хорошо... Сейчас умоемся, обедать будем...

Посидела с нами в обнимку, помолчала – и, ни с того ни с сего, засмеялась. И не просто засмеялась – затряслась от смеха! Я был изумлён. А она поспешно разжала свои объятая, встала и отошла от нас к окну, раскачиваясь и сгибаясь от отчаянного хохота.

– Ну на-а-до же! – тоненько выкрикивала сквозь смех. – Это на-а-до же!..

Я не знаю: то ли профсоюзное и партийное начальство привокзального ресторана дало матери бестолковую информацию о прощальных гудках, то ли она сама что-то не так поняла. Известно, что Сталина в Москве хоронили в четыре часа дня. Сейчас разница нашего амурского времени с московским – шесть часов, а тогда, в пятьдесят третьем, восточная часть Амурской области, где расположена и Завитая, входила в Хабаровский часовой пояс, поэтому разница с Москвой была и вовсе семь часов. Значит, в момент прощания с вождём у нас было одиннадцать вечера. Ночь, в сущности. Едва ли кто-то стал бы включать в такое время траурные сирены. Если и включал, то ненадолго. А давать прощальные гудки днём, до начала прощания, было бы просто нелепо.



Ну и напоследок – про красивое и загадочное, будто созданное для поэзии и сказки, слово «снеженица».

Не было такого слова.

Как уже могли догадаться сведущие читатели, предметом разговора моей матери с соседкой была не почудившаяся мне в приливе фантазии снеженица, а всеми тогда ожидаемое *снижение цен*. Знаменитое сталинское – на продукты и другие товары. Оно в том году состоялось первого апреля. Между прочим, в последний раз.

Снижение цен – это очень доброе дело. Но за поэзию и сказку всё же обидно.

И вдогонку – ещё раз про *поэзию и сказку*.

Летом того же года, в одну из суббот, мы с отцом, как всегда, пришли в железнодорожную баню. У входа ожидали своей очереди мужики – кто стоял у дверей, кто сидел на лавочке. Подбежал маленький грязный цыганёнок:

– Дяденьки, дайте двадцать копеек, я спляшу.

Ему, смеясь, бросили под ноги монетки. Он собрал их, зажал в кулаке – и прошёлся вприсядку, мелькая босыми чёрными пятками и голосисто выкрикивая:

Изменник Берия  
Потерял доверие,  
А товарищ Маленков  
Надавал ему пинков!

Навсегда запомнилась мне эта частушка.

По форме – самая настоящая народная поэзия.

А по содержанию – партийно-правительственная сказка, – если в самом деле, как считают нынешние историки, Берия оклеветали.

Новое время – новые песни. Так было и будет.

## Дела корабельные

Весеннее солнце припекало, как летнее. Надоело сидеть дома.

В поисках какого-нибудь занятия я залез в отцову кладовку, что была сбоку от сарая, – сверху над ней ещё недавно была наша голубятня. Среди лопат, вил, каких-то старых стульев мне на глаза попались сколоченные отцом из досок санки. Я ими почти не пользовался – никакой горки, чтобы кататься, поблизости не было. Повозил зимой закутанную от мороза Натку раза два по двору на этих санках да и забросил их.

Теперь они меня заинтересовали. Полозьями в них служили две сосновые доски, поставленные ребром и спереди опиленные с закруглением. Они были лёгкие, а главное, очень толстые. Взглядом опытного корабеля я это сразу оценил. Из такой толстой доски можно сделать большую

ладью! Выдолбить её, поставить мачту с парусом, посадить туда слепленных из цветного пластилина людей и пустить в плавание не в каком-то тазике, а в настоящей большой глубокой луже!

Азарт созидания снова охватил меня.

Но как отсоединить нужную доску? Она же крепко прибита гвоздями к дощечкам саночного сиденья, соединяющего полозья.

В углу был прислонён к стене топор. Поднял его – тяжёлый. Потрогал блестящее лезвие – ух какой острый! Но лезвие сейчас не имело значения. Тяжёлый обух – вот что было важно. Я видел, как отец расколачивал обухом дощатые ящики – чтобы потом из дощечек наколоть растопки. А я вот санки так же расколочу.

Выйдя наружу, уложил санки на землю, взял в обе руки топор, лезвием вверх, обухом вниз. Примерился, куда нанести первый удар. Взмахом, с некоторым усилием, занёс тяжёлый топор над головой... и почувствовал тонкую резкую боль где-то между лбом и макушкой. Ничего не понял, но несколько смешался – и удар по санкам получился вялым и неточным.

Тут что-то потекло со лба на лицо. Потрогал лицо – на пальцах кровь. Не успел удивиться – а она уже на рубашку закапала.

А через двор шла соседская тётенька. Увидев меня, с залитым кровью лицом и с топором у ног, охнула, подскочила. Сдёрнув со своей головы лёгкую ситцевую косынку, прижала её к моей наголо стриженной голове, уголком обтерла наспех лицо и за руку потащила меня через двор в нашу квартиру. Я, набычившись, еле поспевал за ней.

У нас на квартире был телефон – великая по тем временам редкость. Он был не наш, а казённый, мать иной раз проклинала его: по нему в любое время дня и ночи оглушительным звонком вызывали отца на работу. Но, бывало, телефон здорово выручал.

Соседка крикнула в трубку: «Мне ждэ ресторан!» А потом: «Алё, позовите Надю-счетовода... Надя, только ты не волнуйся... Твой Владик голову топором разрубил... Да живой, живой...»

Мать примчалась молниеносно. И только увидев её побелевшее, насмерть перепуганное лицо, я наконец заплакал. Вернее, захныкал – в предвидении грядущей взбучки.

Ничего я, слава Богу, не разрубил, а всего лишь порезал лезвием топора кожу на голове.

Но, конечно, мне крупно повезло.

*Забегая вперёд*

А корабль, хоть и много позже, я всё-таки сделал. Я уже учился в четвёртом классе, и не Садко царил в моих взбудораженных далёкими морями



мозгах, а адмирал Нахимов и капитан-лейтенант Головнин, и не крутобокие ладьи мерещились, а стройные бриги и фрегаты. Отец в очередной раз лежал в больнице, измотанная мать дала мне какие-то малые деньги, и я купил себе на свой одиннадцатый день рождения самый в тот момент вождельный подарок – рашпиль! Кто не знает – это такой крупный напильник по дереву.

Мною уже был выдолблен из берёзовой чурки настоящей стамеской корпус парусника. Но он был грубый, необработанный. И вот, заполучив желанный рашпиль, я с его помощью довёл борта до нужной гладкости, а потом ещё и наждачной шкуркой прошёлся. Настелил фанерную палубу с прорезанным в ней люком, который закрывался жестяной крышечкой на проволочном шарнире. Поставил две мачты с реями и бушприт на носу, закрепил паруса из простыночной ткани – они поднимались и опускались на ниточных канатиках. И верёвочные трапы из тонкой проволоки были протянуты от палубы к верхним реям, и вымпелы реяли на мачтах, а на корме – Андреевский флаг. Выкрасил корпус чёрным кузбаслаком, а на бортах вывел по чёрному белилами имя своего брига: ДИАНА – как у трёхмачтового шлюпа капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца.

Боже мой, как же я тогда хотел, как горел желанием стать моряком!

Даже странно, насколько легко и – как изяснялись в эпоху парусных кораблей и гусиных перьев – *нечувствительно* исчезают со временем пылкие детские мечты. Развеиваются как дым.

Но всё же маленький огонёк от них остаётся, продолжая тлеть где-то глубоко в душе. И что ни говори, а не хочется, чтобы он совсем погас.

А ведь я теперь и не вспомню, какая именно тётенька пришла на помощь мне, залитому кровью корабелу. То ли из соседнего подъезда (жена дяди Яши?), то ли даже из соседнего дома.

Но, в общем-то, все соседи у нас в околотке прекрасно знали друг друга.

## Круговорот соседской жизни

В те незабвенные пятидесятые едва ли не главной особенностью житейского уклада было постоянное общение соседей. Отцы семейств вечером заходили друг к другу в гости – распить чепушку\* или просто покурить, до полуночи споря о политике. Что уж говорить о гостях-соседках!

\* Чепушка – такое имя, родственное словам «четвертушка», «четвертинка», носила нынешняя чекушка, родства не помнящая. – Примечание автора.

Их вдохновенная трескотня была для невольно подслушивавших детей, особенно девочек, источником любопытнейших сведений. Ну нескучно, нескучно жилось нам без телевизоров и компьютеров – уж вы поверьте, недоверчивые потомки!

И детям квартирная теснота тех лет не мешала толпами ходить по гостям.

С другой стороны нашего дома, кроме крыльца с уютным двориком, был подъезд, ухоженностью, как я уже сказал, не отличавшийся. Там жила многодетная семья, однако старшие дети уже разъехались кто куда, и остались только Люська, года на два постарше меня, Райка, моя ровесница, и самая младшая – Надя, подружка моей сестрёнки. Был ещё ровесник Арика Толька, но тот с нами, мелкоотой, не водился и вскоре тоже уехал – поступил в речное училище.

В их двухкомнатной квартире постоянно толкались соседские мальчишки и девчонки. И взрослых хозяев это не раздражало. Мать Райки и Люськи, погружённая в домашние хлопоты, лишь беззлобно шуганёт кого-нибудь: мол, не мешайся тут! А отец, в железнодорожной фуражке, невысокий, плотный, с небольшим пузцом, приходя на обед, весело оглядывал ораву гостей и добродушно кивал головой на наши «здрасьте».

Помню: начало лета, но у них всю топят печь, и потому окна распахнуты. На плите исходят паром и клокотанием две огромные кастрюли. Райка, подставив к плите табуретку, взбирается на неё и открывает крышку той кастрюли, что поменьше. Сообщает мне:

– Квасоля на ужин варится.

Шумовкой вытаскивает из кипящего варева прямо на раскалённую плиту несколько продолговатых белых фасолин. Они сердито шипят. Райка торопливо, пока не пригорели, хватает их по одной прямо пальцами и, подув, кидает в рот.

– А ты что – не любишь квасолю?

Я с опаской – не обжечь бы о плиту пальцы! – беру фасолину, дую на неё, жую. Она очень горячая, но ещё полусырая, твёрдая.

– Ладно, пускай кипит! – И Райка перетаскивает табуретку к той кастрюле, что больше размером. – А здесь соя чушкам!

Шумовкой вытаскивает на плиту с десяток жёлтых соевых зёрен. Пробуем и их. Соя для чушек оказывается и мягче, и вкуснее.

Дорого мне одно воспоминание. Лет в восемь я попал (скорее всего, та же соседская Райка затащила) на новогодний утренник в совсем незнакомую мне квартиру. Это был не добротный, как у нас, дом, а ветхий *шлакозасыпной* барак – встречались тогда по Завитой в не малом числе такие жилые строения: их стены сколачивались



из дощатых щитов, между которыми засыпался серый угольный шлак. И вот я оказался в невообразимо нищей комнате с облезлой извёсткой на закопчённых стенах. Уж не знаю, был ли в той квартире хозяин мужчина. В окне одна из стеклин отсутствовала, и в раму была засунута для защиты от зимнего холода не очень чистая на вид подушка.

Однако гостей – то есть соседских детишек – пришло много. На ёлке были развешаны самодельные гирлянды из бумаги, неумело раскрашенной цветными карандашами, а также дешёвые карамельки – облепленные сахарными песчинками розовые кругляшки, известные позднее как «дунькина радость», но в те годы бывшие для детей вполне нормальной радостью.

Сначала все ходили хороводом, задевая в тесноте колючие ветки, и я всё боялся, что карамельки от этого будут падать на пол и их растопчут. Потом дело пошло веселее: желающие по очереди, встав у ёлки, исполняли стишок или песенку, и одна из старших девочек – лет, может быть, тринадцати, – приветливая и серьёзная, снимала с ветки карамельку и вручала каждому маленькому исполнителю в награду.

Но вот она сама встала у ёлки – и громко запела:

Хорошо нам жить на свете –  
Беспокойным, молодым!  
И мороз, и знойный ветер,  
Если надо, укротим...

Музыки никакой не было, но мы затихли – её звонкое пение птицей закружило над нами и словно околдовало всех.

Открыв рты, замерли столпившиеся у новогодней ёлки малые дети, одетые плохо и уж никак не празднично, многие в пятнах зелёнки на замурзанных сопливых личиках. Да и ёлка, в бедном наряде, без единой блёстки, тоже выглядела невзрачно. Январское низкое солнце освещало этот убогий праздник сквозь мутное, составленное из ломаных стёкол окно с нелепо торчащей в нём подушкой. А девочка стояла, в стареньком застиранном платьице и тяжёлых серых валенках, но всё равно красивая какой-то до сих пор памятной мне строгой красотой, и пела уверенным чистым голосом:

Расцветает степь лесами,  
А в лесах поля цветут.  
Это сделали мы сами,  
Это наш великий труд...

Жалкая нищета барачной комнаты – и такая ликующая, победная, счастливая песня... Слезы подступают, когда вспомню об этом.

И пусть не покажется диким, но это слёзы восхищения и гордости.

Трактуйте как хотите.

## Странное семейство

В общем, ходить в гости было в те времена делом практически повседневным.

И только семейство, жившее в подъезде с уютным двориком, у всех обитателей нашего квартала вызывало недоумение. Оно соседских отношений ни с кем не поддерживало и гостей тем более никогда не принимало. Исключение составляли мы, мальчишки, дружившие с Ариком. Но, во-первых, нас было мало – я, в сущности, всех уже перечислил, – а во-вторых, и мы, «избранные», бывали только в их дворике.

Хотя нет – ещё мы бывали в их стайке.

У всех семей нашего дома, как я уже говорил, имелась в большом бревенчатом сарае стайка для скотины. Но это семейство, опять же к всеобщему недоумению, ни кур, ни свиней и никакой другой живности не держало. В их пустой, летом прохладной стайке было просторно и чисто – ни грязи, ни вони. Приятно пахло сухими травами – их пучки висели на стенах. На полке в баночках и бумажных кульках хранились какие-то семена. А на полу желтела солома – её дед откуда-то принёс и расстелил, – и от этой соломы сам воздух в стайке казался золотистым.

И там творились чудеса.

У Арика был фильмоскоп – штукавина, ныне забытая, а тогда очень уважаемая. Представьте небольшой, размером с ручную фотокамеру, аппаратик в жестяном корпусе, с окуляром, а сбоку колёсико – для прокрутки. Внутри заряжалась узкая плёнка с тремя-четырьмя десятками кадров какого-нибудь кинофильма: сейчас бы это назвали слайдами, а тогда такие плёнки были известны как диафильмы. Надо было один глаз зажмурить, а другим прижаться к окуляру и, покручивая колёсико, смотреть кадр за кадром, читая под каждым подписи.

Смотреть мог лишь один человек. Но нас-то была целая компания!

Арик нашёл выход. В дощатой двери стайки были небольшие щели. В солнечный день через них, если дверь закрыть, в полутёмную стайку пробивались солнечные лучи. Арик прикреплял фильмоскоп к самой широкой дырке – и солнечный луч переносил на приколотый к противоположной стене большой лист ватмана увеличенные кинокадры.

С той поры, когда речь заходит о фильме «Александр Невский», я вспоминаю золотистую



полутьму стайки, запах сухих трав – и на стене чёрно-белые кадры великого фильма: гордый Александр в богатой длинной рубахе, сияющие купола собора, подлый изменник Твердило, жуткого вида ливонские рыцари с безликими железными мордами, грозные топоры новгородцев... Эх, коротка кольчужка!..

За все годы соседства я лишь раз или два ненадолго заходил в квартиру этого семейства, не помню зачем. Там была образцовая чистота – но при этом и невообразимая теснота. Ещё бы – в двухкомнатной квартирке с узенькой кухней размещались девять человек: дед с бабкой и две их взрослые дочери, из которых у каждой по двое детей, а у младшей – ещё и муж.

Итого – три поколения, объединённые в три семьи.

И у каждой семьи своя фамилия: у деда с бабкой одна, у старшей дочери с детьми – другая, у младшей дочери с мужем и детьми – третья.

Начну с третьей семьи. Младшую дочь деда и бабки, невысокую фигуристую дамочку, звали тётя Шура, её мужа – дядя Женя, он был начальником среднего звена на железной дороге, кажется, по части сигнализации и связи, худощавый, всегда куда-то спешащий: промелькнёт и исчезнет. Их дети – непоседливый Эдя-Брэдя и худенькая капризная Вика-Викуся.

Старшая дочь деда и бабки – Тамара Васильевна – работала, кажется, где-то в бухгалтерии. Как сейчас вижу: неспешно идёт на работу с маленькой сумочкой в руке, стройная, слегка наклонив вбок голову с высокой строгой причёской. Вежливым кивком отвечает на приветствие. Вид её всегда вызывал у меня почтение. Её детьми были Арик и Регина – молчаливая замкнутая девочка, младше брата года на три.

### *Забегая вперёд*

Много лет спустя Арик – вернее, Артур Алексеевич, ибо к тому времени он сам уже был и отец, и дед, – коротко рассказал мне такую историю. Его отец воевал, мать растила двух малых детей и ждала мужа. А потом узнала, что он сошёлся с другой. Когда вернулся и стал просить о прощении, Тамара Васильевна прогнала его. И больше замуж не выходила. Состарившийся сын рассказывал, а я с удивлением слышал в его голосе злобу. За нанесённую матери обиду он отца-фронтовика так и не простил. Хотя столько лет прошло. Но кто тут сыну судья? И что мы знаем о милосердии?

И наконец о старшем поколении семейства. Похожий на Мичурина глуховатый дед, содер-

жавший в образцовом порядке и дворик, и огород, был родом с Урала. Бабка, его жена, – из забайкальских казачек. Они когда-то (о чём я тоже узнал уже через много лет) жили в Китае, где дед работал на КВЖД, но успели выехать оттуда в Амурскую область, кажется, задолго до войны. Во всяком случае, репрессии, под которые попадали бывшие «харбинцы», их миновали.

Вот им-то, деду и бабке, наш рассказчик Арик и был обязан знанием всякой всячины. Ведь они вывезли из Харбина немало книг и журналов. Кое-что Арик тайком от бабки выносил из дома и показывал мне. Например, ту самую «Королеву Марго» дореволюционного издания. В ней я впервые увидел букву «ять». А какие там были гравюры сцен Варфоломеевской ночи!

Позже – уже, наверное, года через два после того первого лета – он давал мне на дом почитать такую же старинную книжку. Она называлась «Маленький лорд Фонтлерой». Чтение с «ятями», твёрдым знаком в конце слова и чудакватого вида окончаниями – вроде «большаго», «синяго» – я освоил без труда, но сама эта книжка, хоть и детская, показалась мне скучной. Запомнилась почему-то лишь одна фраза, сказанная маленьким американцем: «Я хочу поехать в Англию и сделаться лордом».

Ещё Арик показывал журнал «Нива» – тоже с «ятями» и твёрдыми знаками. Там, среди прочего, была «Пёсенка Донъ Жуана»:

Я знаменитый сердцеѣдъ,  
Ко мнѣ льнуть женщины какъ мухи –  
И высшій свѣтъ, и полусвѣтъ,  
И молодья, и старухи...

«Как мухи» – это звучало смешно, а «сердцеѣд» и «полусвет» – непонятно.

Из второго куплета помню две последние строчки:

...Въ Парижѣ сто одинъ корсетъ  
На память дамы мнѣ вручили...

Что такое «корсет» – и Арик толком не знал, но, видимо, что-то неплохое, если так расхвастался этот самый Дон Жуан (тоже, кстати, не очень понятно, кто такой). Далее было:

Съ американкою не разъ  
Подъ небесами мы летали...

А запомнил я почти весь стишок благодаря концовке:

Въ Россіи мнѣ подбили глазъ  
За тет-а-тетъ на сеновалѣ.

Эти две строчки привели меня в восторг. И главным тут было даже не возбуждавшее закон-



ный интерес туманное «тет-а-тет», а подбитый в России глаз. Это же умора! И, опять же, – знай наших!..

А однажды Арик вынес очередную книгу и, таинственно глянув по сторонам, произнёс: «Запрещённая!»

В руки мне он её не дал, а только открыл переднюю сторонку переплёта, и я увидел рисунок: сидят какие-то дядьки и тётки на длинной скамье, и среди них красноармеец в будёновке и шинели с «разговорами». Арик сказал, что это рассказы писателя Зоценко, очень потешные. Почему они запрещённые – он не знал. Когда я любопытствовал, о чём этот Зоценко писал, он ответил:

– Если пересказывать, будет неинтересно. Надо читать.

Однако читать вслух не стал и унёс книжку обратно.

Да и время пересказывания книжных историй, к стати сказать, подходило к концу.

Наступала пора устных «мемуаров».

### «Шапка-флот»

Как-то летом, – перед тем как мне идти то ли во второй, то ли в третий класс, – прошли сильные ливни, и наш перекрёсток улиц Кирова и Чапаева совсем затопило. Это было моё недолгое морское счастье! Мальчишек набежало со всего квартала. Мы с хохотом бродили по мутной грязной воде, где по колено, а где и по грудь. Откуда-то понагнали старых калиток, ворот, железнодорожных шпал – и плавали на этих боевых кораблях, сталкиваясь «бортами» с противником, нещадно обрызгивая друг друга ударами ладоней по воде и очумело зажмуриваясь от встречных брызг, мокрые и грязные с головы до ног.

Арик с забора наблюдал. Смеясь, выкрикивал:

– Вон палка плавает! Бери её и толкайся, как шестом!.. Сильней толкайся!

– Калитка твоя тонет! Перелазь на шпалу!..

– Заплывай к нему сбоку! Тарань в борт!

В этот-то день, как я теперь понимаю, и родилась у него идея собственных «флотских мемуаров». Она оказалась поистине неисчерпаемой.

Прибежав домой, я торопливо (пока мать не вернулась с работы) искупался в бочке с дождевой водой, пополоскал в ней же майку, трусы и кепку – всю свою летнюю одежду, – кое-как отжал и опять надел как ни в чём не бывало. Взбучку от матери всё равно получил – но это пустяки, не стоящие внимания.

К утру потоп сильно пошёл на убыль, и скоро перекрёсток снова стал проезжим. Ливней

больше не было, хотя дождик временами моросил. Мы собрались в беседке, увитой цветущими вьюнками, и возбуждённо говорили о вчерашнем. Арик пренебрежительно махнул рукой:

– Чепуха! Вот у нас был флот – это да! Когда мы жили в Куйбышевке...

Я сейчас не уверен: то ли он назвал Куйбышевку, нынешний Белогорск, то ли город Свободный. Впрочем, это не имеет ни малейшего значения. Итак:

– ...у нас там был один пацан – Шапошников. Мы его звали – Шапкин. Он был старше всех – такой, как я сейчас... У него батя работал директором лесобазы. Там брёвен было – жуть! И в штабелях сушились, ошкуренные, и так валялись, и в воде плавали...

Про какую воду Арик говорил – про речной затон, озеро или просто затопленную дождями территорию при этой самой лесобазе, – я не очень-то понял. Но меня такие мелочи и не волновали.

Разворачивался рассказ о небывалых, грандиозных вещах.

Этому Шапкину будто бы разрешалось, как сыну начальника, в любое время туда приходить, да ещё и друзей приводить, сколачивать из брёвен плоты, по два-три бревна, и плавать на них сколько угодно. Никто пацанят не прогонял. Полная свобода, широкий простор для плавания – и вода чистая, не то что здесь! А плот из брёвен, особенно ошкуренных, – это не то что грязная шпала, а тем более перекошенные ворота и хлипкая калитка, которые всё время тонут то одним боком, то другим, да ещё и на гвоздь можно напороться.

– Вот там были бои, так бои! Мы бились эскадра на эскадру!

Этот рассказ впечатлил всю компанию.

Но, как я – опять же теперь – догадываюсь, ещё больше он впечатлил самого рассказчика. Арик неожиданно наткнулся на драгоценную жилу – только знай разрабатывай! И за этим дело не стало.

Как раз и погода наступила подходящая: нет-нет да и сеял мелкий дождик. Мы сидели в увитой зеленью беседке и слушали продолжение увлекательнейших «мемуаров».

Этот мальчишечий адмирал Шапкин разделил всю водную братию на две эскадры. Одной командовал сам, а другую отдал своему однокласснику. Эскадры вели между собой сражения. И рассказ об этих сражениях, то прерываясь надолго, то с новым огоньком возобновляясь, в общей сложности растянулся на месяцы – и даже на годы!

Каждый раз Арик вспоминал всё новые подробности и новые приключения. Так, оказалось, что плот из двух брёвен – это был миноносец, из



трёх – эсминец, из четырёх – крейсер. А Шапкин, разумеется, находился на линкоре, сколоченном аж из пяти брёвен. И этот тяжёлый линкор четверо крепких ребят с шестами разгоняли до такой скорости, что, когда он врезался во вражеский крейсер, команда неприятеля, не удержавшись, вся плюхалась в воду.

Сам рассказчик был – как он уточнил через некоторое время – мичманом на адмиральском линкоре. О собственных подвигах умалчивал – очевидно, соблюдая меру, – зато боевые дела его эскадры водопадом обрушивались на слушателей. Лихие тараны, коварные пуски «торпед» – разогнанных до большой скорости одиночных брёвен, – отчаянные абордажные схватки, хитроумные угоны кораблей противника...

Не знаю, как другие, а я поначалу не сомневался в достоверности всех этих приключений – настолько ярко они рисовались воображению.

Долгоиграющим «мемуарам» мы дали название «Шапкин флот», а затем, для беглости, упростили в «Шапка-флот».

### *Забегая вперёд*

Но со временем распалась слушательская аудитория. Сначала откололся Вова-Кобыла, бывший почти ровесником Арику: повзрослел. Потом уехал с родителями в Норильск Эдя-Грыжа. Эдя-Брэдя, хоть и родственник рассказчику, интерес к «флотским» историям утратил. А скоро эта часть семейства – дядя Женя, тётя Шура и Эдя-Брэдя с Викой – тоже уехала из Завитой: дядю Женю перевели на новое место работы. В их квартире стало намного просторнее.

Но и я, самый прилежный слушатель, гораздо реже стал бывать в их дворике. Школа, новые приятели – и по дому обязанностей прибавилось, особенно с болезнью отца.

Наша семья к тому времени снова сменила квартиру – в последний, как оказалось, раз. Переехали мы недалеко, всего-то через дорогу – в дом, что стоял торцом на улицу Чапаева, окнами прямо на железнодорожный клуб. А фасадом он выходил на улицу Кирова, как раз напротив нашего бывшего дома. И крыльцо Арика смотрело теперь напрямиком на наше крыльцо.

Видеться мы стали реже. Его, уже старшеклассника, теперь трудно было и представить в компании детворы.

Но иногда он выходил на крыльцо и, прижав кулак ко рту, выдавливал из плотно сжатых губ воздух – и раздавался резкий пронзительный звук: как будто кто-то отдирает прибитую ржавыми гвоздями доску. Это был условный сигнал. Я, если был дома, выскакивал и отвечал таким же

сигналом. Переходил неширокую улицу, и мы садились у них под окном на завалинке.

– Ну что – «Шапка-флот»? – спрашивал он.

– Давай! – кивал я.

Сколько же выдумки в нём бурлило! Уже года два прошло с тех пор, как зафонтировали его «мемуары», а всё ещё рождались новые подробности. Появились даже «катапульты» – огромные рогатки, в которых резина была нарезана из автомобильных камер. Укреплённые на плотках, эти орудия вели огонь по вражеским экипажам зелёными помидорами, жёлтыми огурцами и даже небольшими тыквами...

Я уже давно понимал, что это враки, но слушать было всё ещё забавно.

Впрочем, и рассказчик утратил прежний пыл. Истории о «Шапка-флоте» стали перемежаться разговорами на разные темы. А вскоре и вовсе сошли на нет. Зато фонтаном забили эти самые разговоры на разные темы. Мы говорили о наших знакомых, об учителях, о школьных делах – его, старшеклассника, и моих... Но больше всего о живописи, о фильмах, о книгах...

И эти разговоры оказались намного интереснее «Шапки-флота». Тут мой собеседник брал уже не бурной фантазией, а точными и часто неожиданными оценками, которые давал и людям, и событиям, и книгам. Книжные вкусы у него, кстати, резко переменялись. Когда я сказал, что хотел бы почитать «Королеву Марго», он меня удивил:

– Длинно и нудно! Лучше возьми Мериме. Про то же самое – но коротко и интересно.

Не скажу, что я внял его совету, но так уж вышло, что «Королеву Марго», потрясавшую меня когда-то в его же пересказе, я, годы спустя, не раз открывал, но не осилил и до середины. А «Хронике времён Карла IX» Мериме прочёл дважды.

Вижу, что я уже далеко *забежал вперёд* в своих *первых приветях*. Но всё равно – прежде чем вернуться к детским годам, прослежу дальше историю «мемуариста».

После десятилетки Арик поработал какое-то время художником при городском кинотеатре, потом год учился в Хабаровске на худграфе. В те времена люди писали письма – и он мне, уже девятикласснику, прислал пару писем, недлинных, но ёмких, с краткими, порой язвительными характеристиками текущей культурной жизни («...тут у всех на языке эта модница Хемингуэй»), с деталями студенческого бытия («...разгружал вагон соли, упирался так, что лопнули на заднице единственные штаны»). У него, не совру, был свой стиль – лапидарный и выразительный. Он мог бы, пожалуй, писать рассказы, если бы захотел.



Со второго курса его забрали в армию. Отслужив три года на Сахалине, в институте доучиваться не стал, а вернулся на то же место художником – в городской кинотеатр, кирпичное оштукатуренное белое здание которого стояло в центре городка. Потом он женился на директрисе этого кинотеатра.

Приезжая в Завитую к родителям, я непременно заходил к нему в его тесную студию-каморку. Там он обновлял рекламу кинофильмов. Ставил перед собой большой холст, натянутый на подрамник, замазывал рекламу уже показанного в кинотеатре фильма и поверх рисовал красками новую афишу. Быстро и уверенно. Я удивлялся: как он умудряется так ловко работать в этой тесноте, где и отойти-то некуда от холста, чтобы оглядеть нарисованное с расстояния.

В каморку был втиснут стол, на нём с одного края стояли банки с краской и отмокали кисти, а с другого имелось довольно места, чтобы поставить бутылку-другую портвейна и пристроить закуску – какая подвернётся.

Мы садились за стол, чокались стаканами – и будто переносились в прошлое, на ту завалинку. Начинались многочасовые разговоры, вольное перепрыгивание с одного на другое.

Я приходил к нему студентом, потом газетчиком, штатным охотником, снова газетчиком, рабочим «дикой» бригады, литератором на вольных хлебах и наконец редактором маленькой издательской фирмы. Я успел вволю пошарахаться по амурской тайге, побывать в Москве, в Ленинграде, на Украине, в Крыму, в Краснодаре и Сочи, на Камчатке и в Приморье, поработать «диким» строителем в сёлах, косцом сена в подсобном хозяйстве прииска, лесорубом у геологов, даже походить на рыболовных судах по Японскому морю.

А он так и рисовал изо дня в день свои афиши. Кроме Хабаровска, где год учился, и Южного Сахалина, где служил, он, собственно, нигде и не бывал.

Но это ровно ничего не меняло.

В наших разговорах он по-прежнему был (думаю, это точное сравнение) ведущим, а я – ведомым.

Мы закуривали после первой – и я с жаром начинал рассказывать о том, что увидел в очередных странствиях. Я не бахвалился – просто жаждал поделиться. Но всё же присутствовал, наверное, в моих речах невольный подтекст: мол, сидишь ты тут, в своей келье, – а вот мы!.. в тайге!.. в морях!..

Он слушал невозмутимо: ни восторженного удивления, ни насмешливого недоверия. И при этом – предельно внимательно, без всякого притворства. Я бы даже сказал: по-деловому слушал, понимающе кивая головой.

Меня порой так и подмывало поразить его чем-нибудь необычным, художественно приврать – но эта его деловитая внимательность как раз меня и останавливала. В ней словно тоже читался подтекст: да, ты говоришь любопытные вещи, но жизнь, в своём главном, – везде одна: и в столице, и в тайге, и в захолустном городишке...

Те годы были, как считается ныне, счастливым временем для нашего кинематографа, и он, художник кинотеатра, знал все новинки. Само собой, мы говорили и о кино. В моде, среди многих прочих, была Татьяна Дорониная. Мне понравилось, как Евгений Евтушенко написал о ней в «Комсомолке»: «...нервное обаяние Дорониной». И я, желая блеснуть тонкостью оценки, сказал Арику:

– У неё такое нервное обаяние!

– Да брось ты! – скривился он. – Начитался Евтушенки...

Это была стыдоба! До меня впервые дошло, что кроме литературного бывает и разговорный плагиат, не менее позорный.

Изредка я привозил ему свои, из районной газеты, вырезки репортажей – тех, что считал удачными. Он внимательно прочитывал и, кивнув головой, возвращал мне вырезку: дескать, ознакомился. И на этом – всё.

Привёз свою книгу прозы – то же самое: ни похвалы, ни критики.

Я никогда не задаю этих «дамских» вопросов: «Ну как тебе мой рассказ? Как тебе моя книга?» Захотят – сами скажут. И Арику не задавал. Если он не счёл нужным что-то сказать – значит, писанина оказалась не вполне в его вкусе, а ты уж сам давай ей оценку – если уверен в себе. Не должен автор питаться комплиментами. Это не полезно.

К концу наших бесед в студии-каморке мы изрядно накачивались дешёвым портвейном. К нам, бывало, присоединялись его коллеги – местные художники-оформители. У них он был почитаем и как профессионал, и как советчик по житейским вопросам. И нетрудно было догадаться, что Арик – то есть Артур Алексеевич, – если и не каждый день, то довольно часто приходил домой в подпитии.

Но я не видел, чтобы он во хмелю бывал буен или крикливо весел. Становился молчаливее – и это всё, пожалуй.

Ещё меня удивило, что, несмотря на эти его возлияния, с женой они жили вполне мирно. И дочки его очень любили, а он с ними был ласков и заботлив.

Я бывал в его просторной трёхкомнатной квартире. Точнее – квартиру выделили его жене: ведь она, директор кинотеатра, была номенклатурным работником. Видел сделанный его руками ми-



ни-бар, украшенный деревянной резьбой: Бахус выжимает гроздь винограда. Невольно вспомнил тот злодейский пиратский нож и понял: умение резать по дереву никуда не делось.

А потом дочки выросли, уехали в Хабаровск, завели семьи. Жена умерла. А его самого, как долго ни выглядел он молодцом, годы всё-таки догнали. Дальним эхом отозвалась служба на Сахалине, где однажды из-за чьего-то разгильдяйства пришлось простоять несколько часов в карауле на сыром ветреном морозе в кирзовых сапогах вместо валенок. К старости ноги стали отказывать – и былая лёгкая походка осталась в прошлом.

Да что походка – всё изменилось.

Но не буду расписывать немощи и болезни. Не хочу и не буду.

В его домашнем кабинете все последние годы стоит большой, натянутый на подрамник холст, на котором начата масляными красками картина. В нижней части подмалёвком обозначена пышная черёмуха в цвету, а под ней, такой огромной, сидят на лавочке, маленькие и старенькие, провинциального вида мужчина и женщина. Перед ними – лужа, гуси, деревянное корыто. А высоко вверху – летящий реактивный самолёт и опоясывающая весь верх композиции дуга инверсионного следа.

Есть в задумке картины что-то от духа шукшинских рассказов. Я сказал ему об этом. Спросил: когда закончишь? Он пожал плечом.

Так и не закончил. И в этом обстоятельстве видится грустная переключка с полными надежд *первыми приветами* наших судеб.

Однажды я напомнил ему давние детские забавы, «Шапку-флот», наши длинные разговоры в уютном дворике их странного семейства. Сказал, что всё это для меня много значило.

Он удивлённо вскинул голову, подумал – и, будто провоцируя, усмехнулся:

– Что ж ты про это не напишешь?

Ну вот – как мог написал.

## Первый класс

Мир уютного дворика, с его не совсем обычными обитателями, был лишь островком – не в море, конечно, а, скажем так, в заливе моего детства, куда накатывали волны большого житейского моря.

И вот – школьная волна накатила.

Школа деревянная, двухэтажная. Она недалеко – доходим с мамой минут за пять. У меня в руках новенький, пока ещё тесный, не разношенный портфель, пахнущий кожзаменителем. И у многих первоклассников такие же портфели, у

двух-трёх – даже ранцы за спиной, как на картинках про столичную детвору.

Но у нескольких мальчиков и девочек надеты через плечо самодельные крестьянские холщовые сумки на длинной лямке. Не сумки – котомки. Отголосок некрасовских времён:

Вижу я в котомке книжку.

Так учиться ты идёшь...

Всё лето пробегавший босиком, я отмыл ноги – в цыпках, с затвердевшими, как у страуса, пятками – и надел новенькие ботинки. И все первоклашки были обуты: кто в ботинки, кто в «сандалики». Но один мальчик – не из нашего, а из параллельного класса – пришёл в школу с босыми ногами. Потом я слышал: отца нет, мать уборщица, трое детей... И дня через два купила ему школа ботинки. Где-то же нашли деньги.

В нашем классе учеников было то ли сорок два, то ли сорок три. Расселись по партам, в три ряда. Мы, мальчишки, все были острижены наголо, а у девочек косички никто даже не подумал стричь – ну и правильно. Мне место досталось в центре – в среднем ряду и в середине ряда. Пожилая учительница Вера Карповна, строгая и внимательная, спросила:

– Дети, кто из вас знает буквы?

Руку сразу подняли двое: я и сидевшая в первом от окон ряду, впереди меня, девочка. Потом ещё две или три руки в классе поднялись.

– А кто умеет читать?

Тут только двое подняли руки: я и та девочка в первом ряду. Она и на другие вопросы, вставая из-за парты, отвечала громко и чётко. Я, сидевший позади, видел эту умненькую незнакомку только со спины. Она, одна из немногих в нашем классе, была в нарядном форменном белом фартуке. И без косичек. Зато на макушке был пышный белый бант. А светлые волосы спускались до плеч и завивались в крупные кольца.

Потом, на перемене, я её по этим светлым кольцам и узнал. У неё, светловолосой, оказались карие глаза и смуглое красивое лицо. Она была выше на полголовы, и это вызвало во мне чувство досады – хотя с чего бы? Дружить с ней я не собирался. Были у меня знакомые мальчишки, игравшие с девочками в дом, в магазин и прочую чушь. Я был не из таких.

Но радостная думка о ней с того первого школьного дня без спросу поселилась где-то в дальних закоулках моей стриженной головы.

Звали её Наташа Забудская. Она была дочкой машиниста паровоза – человека, по завитинским меркам, богатого. Мы отличниками так и шли с ней на пару все четыре класса начальной школы.



Читать-то я умел как угодно: и бегло – молча, и «с выражением» – вслух. Но, когда класс освоил сколько-то букв и началось чтение вслух по слогам, я оконфузился.

Не знаю, зачем Вера Карповна нас двоих заставила наравне со всеми читать слова по букварю, разбивая слоги паузами: «Ма-ша, ма-ма...» Возможно, не хотела выпячивать умников лишней раз. Наташа Забудская, с её девчоночьим послушанием, легко и изящно прочла всё, как требовалось.

Настала моя очередь. Слово мне в букваре досталось – проще некуда. Сколько раз мы, играя в войну, с азартом вопили его. Но тут оно было по-дурацки разбито чёрточкой на две части, да ещё и повторялось в таком виде дважды: «у-ра! у-ра!» Эти чёрточки вызывали раздражение. Торопясь отвязаться от такой нелепости, я с преувеличенным усердием выкрикнул: «у-ра! у-ра!» – перенеся ударение на первый слог: наверное, чтобы паузы подчеркнуть.

– Владик, ты что? – рассердилась Вера Карповна. – Какая такая «у-ра»?

По классу прокатилось: хи-хи... у-ра-дура...

Да. Не следует ставить человеку слишком простые задачи. Он от этого глупеет.

А всё же чудесная учительница была Вера Карповна. Спокойно улаживала конфликты, вспыхивавшие в классе. Читала нам сказки вслух – русские, грузинские, узбекские. А однажды рассказала удивительную вещь. В Москве будто бы придумали ящичек, в котором есть экран – как в кино, только маленький. И вот где-нибудь в клубе идёт концерт, а люди, сидя у себя дома, включают свой ящичек – и весь концерт на маленьком экране и видят, и слышат.

Я, честно говоря, не мог представить себе, как такое может быть.

## Зелёные метёлки полыни

После первого класса, уже в разгар лета, я заболел, и настолько серьёзно, что меня отвезли в больницу на станцию Куйбышевка.

Невероятно, но врачи определили брюшной тиф – хотя, казалось бы, эта зараза к тому времени давно была побеждена. Положили в изолятор – небольшую палату с единственной койкой. Я несколько суток лежал в беспомощности, потом стал приходить в себя, но очень медленно, порой снова теряя сознание. Не хотел ничего есть, даже смотреть на еду не мог – тарелочки с больничными омлетами и кашами так и уносили нетронутыми. Маме сказали, что надо бы засушить белых сухарей, и она, уезжая, попросила об этом свою

куйбышевскую знакомую. Та раза два приносила такие сухари – их я и правда начал грызть, по полсухарика, по сухарику в день, макая в остывший чай. Книжки, второпях купленные матерью, лежали на тумбочке, не вызывая интереса.

Однако помаленьку задвигался. Вышел в коридор – но там стояли и прогуливались только большие дядьки в пижамах: больница была для взрослых. Тогда я стал забираться (поначалу с трудом – голова кружилась) на подоконник и смотреть в окно. Изолятор мой находился на втором этаже кирпичного здания. В окно был виден двухэтажный жилой дом, такой же, как больница, кирпичный, в такой же белой штукатурке, с просторным двором, заросшим полынью. И дальше стояли похожие дома. Наверное, это был военный городок.

С тоской, как на что-то несправедливо отнятое у меня, смотрел я из окна на полынь в чужом дворе, на тополя и берёзы, на белые облака в синем небе. Острая больничная тоска была безжалостна, но она же, надо признать, и потащила меня, будто рывками, к выздоровлению. Я стал понемногу что-то есть кроме сухарей. Стал брать в руки и перелистывать оставленные матерью книжки.

Однажды, взобравшись на подоконник, так и прильнул лбом к стеклу. Внизу, в просторном дворе, гуляла девочка в светлом платьице – моя ровесница или, может, чуть младше. Опрятная такая – явно офицерская дочка, – она бегала среди высоких редких стеблей полыни. На их верхушках уже появились зелёные метёлки соцветий. Девочка, останавливаясь, делала то, что и я часто делал: ладошкой стягивала с такой метёлки горсточку мелких, как зёрнышки проса, нераспустившихся цветочков, от которых исходил терпкий полынный запах. Но я обычно, рассмотрев эти зелёные зёрнышки, просто бросал их под ноги. А она, смеясь, широким взмахом руки пускала всю горсточку на ветер. И перебегала на другое место, что-то рассказывая сама себе.

Потом она убежала за угол дома, и больше я её в тот день не видел, хотя постоянно поглядывал в окно.

На другой день пришла! Снова увлечённо разбрасывала по двору зелёное полынное просо. А иногда совала горсточку-другую в кармашек платья – уж не знаю зачем, может, кукол своих кормить. И я, никогда не лезший в девчоночьи игры, вдруг понял, что очень хочу оказаться там, рядом с ней.

Она опять убежала. А я разом и взгрустнул, и повеселел. Моя больничная тоска, вспыхнув ещё острее, словно дала мне пинок, окончательно вернув к жизни. Я впервые поел больничного супу, а потом, устроившись на подоконник, чтобы чаще поглядывать в окно, взялся наконец за книжки.



Среди них детской была только «Тройка без тройки» — про мальчишек-футболистов из московского двора. Она мне не понравилась, я её вскоре бросил. С любопытством полистал журнал с бледно-синими фотографиями, целиком посвящённый недавней корейской войне. Короленковский «Слепой музыкант» заинтересовал, но в чтении показался тяжеловат. В итоге единственной книжкой, которая пришлась по душе, были рассказы Льва Толстого: «Люцерн», «Ягоды», «После бала», «Хозяин и работник»... Да, да — благословенная «Массовая серия».

Девочка в светлом платье ещё несколько раз, хотя и не каждый день, появлялась во дворе. Я тут же забывал про чтение. А она, бегая среди полыни, иногда поднимала голову и глядела на моё окно. Видела ли меня за стеклом — не знаю. Открыть окно я не мог — створки были наглухо закрыты.

Потом она совсем исчезла. Но в памяти осталась. Как оказалось, навсегда.

## Урал и Кама. Генкина тайна

А после второго класса — это был пятьдесят пятый год — мать повезла нас с Наткой к своей родне — на Урал и на реку Каму. По отцовскому бесплатному билету мы сели в мягкий вагон. Мягкий-то мягкий, да место всего одно, причём на верхней полке. Трудно поверить, но мы, все трое, умудрялись уместиться там на ночь. Мать клала нас у стенки: Натку головой к окну, меня — в обратную сторону, а сама ложилась с краю. Как она удерживалась, чтобы не свалиться, и что у неё за сон был — не знаю.

Все дни я простаивал в проходе у окна. Помню белый бюст Сталина на скале под Амазаром, — по вагонному радио пассажиров предупредили: глядите, мол, в окна, не пропустите! Паровоз салютовал каменному вождю долгим гудком. Затем мелькали бесчисленные тоннели, когда вагон минуты на две погружался в полную тьму. Помню, что очень долго состав шёл вдоль самой кромки синего Байкала и совсем рядом с вагоном плескалась поверх круглых камешков чистейшая вода. (Этого теперь не увидишь: бюст Сталина взорван, дорога у Байкала проведена в другом месте, тоннелей стало мало). Потом замелькало в вагонных окнах то, что пассажиры видят и ныне: хвойная сибирская тайга, степи и берёзовые перелески Западной Сибири, уральские рябины на склонах гор.

В уральском городишке Кунгуре мы собирали землянику в сосновом бору, среди редко стоявших огромных корабельных сосен. Мать так

хотела показать нам знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру, но та была временно закрыта. А в городе Молотове (ныне это опять Пермь) я видел Каму, полноводную и быструю. Но больше впечатлил городской базар. Вернее, не сам базар, а то, что творилось при подходе к нему. Всё пространство возле базарных ворот так и кишело страшными старухами, слепцами, глухонемыми, самыми разными калеками — и однорукими, с жестяной баночкой для подаяния в уцелевшей руке, и одноногими, на костылях, и совсем безрукими и безногими, на деревяшках с колёсиками. Всё это вопило, бубнило, мычало, умоляло, стучало костылями, дёргало визгливые меха гармошек, выхрипывало и выкрикивало слезливые песни — и висел в воздухе тяжёлый запах немых тел.

После большой войны прошло всего каких-то десять лет — и здесь, на западе страны, её следы были заметнее, чем у нас на Дальнем Востоке. Я, во всяком случае, такого множества нищих и калек ни прежде, ни потом не видел.

Осенью пошёл в третий класс. Впервые узнал, как это здорово — из дальних странствий вернуться домой. В том сентябре часто перепадали дожди, я шёл в школу по дощатому мокрому тротуару мимо парка, и листья ясеня влажно шуршали под ногами — жёлтые, перистые, так любимые мною с тех пор, как я увидел их ещё в первую свою завитинскую осень. А в школе — родные деревянные парты, тяжёлые, коричневые, с чёрным блестящим верхом, тысячекратно изрезанные перочинными ножичками и залитые чернилами, но столь же тысячекратно отмытые и заново покрашенные, — несокрушимые! А за партами — мои одноклассники и одноклассницы, за лето подросшие, но всё равно хорошо знакомые, свои. И среди них — Наташа Забудская, хоть и знакомая, но каждый день и каждый час как будто увиденная мною заново.

Учиться в первые дни после летних каникул было легко и интересно. А на переменах мы наперебой делились свежайшими воспоминаниями о дальних и ближних поездках. Да и после школы взахлёб рассказывали — кто о деревне, кто о рыбалке, а кто и о Чёрном море.

Раз под вечер прибегает к нам домой Генка Барановский:

— Давай выйдем!

— Зачем?

— Узнаешь! — А сам аж прыгает от нетерпения.

У нас с ним, в общем-то, были разные компании, но он был мой одноклассник и жил неподалёку. Наверно, что-то срочное погнало его ко мне.

Мы вышли на крыльцо, и он тут же выпалил:

— Я Наташку Забудскую люблю!



Такого я не ожидал. Застыл, не зная, что сказать. Казалось бы, это не мои, это Генкины дела... Но ледяной холодок пробежал по спине – будто меня вытолкали на всеобщее обозрение, насмешливо приговаривая: а ведь и ты – *тоже*, и ты – *тоже*...

Скривив ироническую ухмылку, я промямлил:  
– Да ты чё?

А он, словно торопясь избавиться от того, что мучило, распирало и томило его, выдохнул:

– У неё кучери, как у короля!

И, довольный моим ошарашенным видом, заключил:

– Только никому! Это тайна, понял?

Он убежал, а я подумал немного – и снова заухмылялся, но теперь уже не деланно, а по-настоящему – и с немалым облегчением: да ну его, Генку этого... Жених нашёлся... Смешно даже: «кучери, как у короля...» А почему не как у королевы? Или как у принцессы?

Теперь же, выудив из бездны времён простодушное Генкино восклицание, я вдруг признал, что «кучери, как у короля» – это не так уж глупо. Не отличался паренёк пристрастием к книжкам – но ведь читала нам вслух Вера Карповна сказки Андерсена. И картинки показывала. А там именно короли и принцы носили похожие волосы – почти до плеч и внизу с завитушками. Вполне дамские – по представлениям наших тогдашних пятидесятых годов. Да и корона у них на голове чем-то напоминала пышный бант Наташки Забудской.

Так что, уважаемые начинающие литераторы, учитеесь зоркости наблюдений у простого народа!

## Закрытое письмо

В конце зимы пятьдесят шестого отец, придя с работы позднее обычного, с порога стал рассказывать матери про письмо, которое им читали на работе и которое почему-то называлось закрытым. Вид у отца был взбудораженный, растерянный. В том письме говорилось про какой-то «культ личности». Это, как я понял, означало, что Сталин вовсе не такой хороший, как все думают, а наоборот – чуть ли не враг.

– Да как же это? – выкрикивал отец. – Да не может быть!

Мать и вовсе пришла в ужас:

– А что ж теперь будет?

– Не знаю, – качал головой отец.

Такие же по смыслу вопросы и восклицания не раз той весной раздавались на нашей кухне, когда к отцу приходил кто-нибудь из знакомых

мужиков. Они там курили и допоздна перемалывали ошеломительную новость, переходя с бубнящего полусшёпота на хриплый крик, порой с матом – и тогда отцу приходилось осаживать кухонного оратора: у нас дома не матерились. Всё в этих беседах спуталось в один ворох: безоговорочная защита Сталина (да мы же с ним Гитлера победили!), одобрение критики (правильно пишут – он же сколько народу в лагерях сгноил!), полное неверие написанному в закрытом письме (это брехня и вредительство!), а больше всего – сомнение (может, оно и так, но чего-то нам недоговаривают!).

Мы, мальчишки, ещё меньше отцов понимали происходящее, но воспринимали его не менее бурно. Держали сначала сторону вождя.

– Я сталинец, а ты хрущёвец! – торжествующе орал я, с хохотом спихивая Толяна Молчанова с ещё мёрзлой кучи коровьего навоза у сараев.

– Это ты хрущёвец! – орал Толян и снова лез на кучу – спихивать меня.

Но... «Перестройка – она идёт!» – как через треть столетия скажет с уверенностью удачливого стратега главный соратник Горбачёва. Шла она и тогда, милейшая. И вот уже вспоминается «Родная речь» для третьего класса, где цветной портрет генералиссимуса весь исчёркан прямо по лицу карандашом. Я его той же весной и исчёркал – новообращённый перестройщик середины пятидесятых.

По спирали история движется – или всё же по кругу?

## «Мы теперь не министры...»

В солнечный день, накануне Первомая, я пришёл из школы, а соседка сказала, что отца положили в больницу и мать – там, у него. Он вдвоём с матерью таскал на носилках коровий навоз в огород – и вдруг упал. На тех же носилках, как я понял, отца и унесли в железнодорожную больницу, она была неподалёку.

Мать пришла с отцовыми вещами, сказала: лежать будет долго, у него инфаркт миокарда. Что это такое, я не спрашивал – видел: мать в отчаянии и лучше не лезть с вопросами.

Сердце своё отец, конечно же, посадил на работе: из года в год, изо дня в день – и огромная ответственность, и дисциплина, бывшая на тогдашней железной дороге строже военной, и хамская ругань начальства, и телефонные звонки на квартире чуть ли не каждую ночь, да не по одному разу...

Но, думаю, и злополучное письмо о культе тут сказалось: уж слишком близко к сердцу отец принял слом всего, во что он верил.



Ему было всего сорок лет. Но странно лечили тогда инфаркт: велели как можно меньше двигаться, он несколько месяцев пролежал на больничной койке – и нажил вдобавок хроническую пневмонию. Всю оставшуюся жизнь – ни много ни мало ещё тридцать четыре года – отец прожил больным человеком. Сколько помню его – он и во время ходьбы, и копая грядку, и задавая корм скотине, и стуча молотком, то и дело останавливался, чтобы отдышаться и утереть с лица крупные капли пота. Регулярно ездил в Свободный, в больницу отделения Забайкальской железной дороги, лежал там подолгу.

С должности начальника вагонного участка его перевели в простые осматриватели вагонов, а потом он работал дежурным по складу топлива. Телефон, так досаждавший матери ночными звонками, у нас забрали, и она смеялась:

– Мы теперь не министры!

Так, по её словам, говорила жена уволенного министра в какой-то итальянской кинокомедии, недавно шедшей в нашем клубе.

Но других поводов для смеха было немного. Доставалось матери, чего уж там. И работу она бросить не могла, потому что отцов денежный вклад сильно уменьшился, и по хозяйству надо было крутиться, и нас, двоих, кормить, обстирывать, обшивать. Хорошо ещё, что Натка в детсад ходила.

Когда отец выписывался из больницы, матери становилось полегче. Он, хоть и потихоньку, с передышками, а многое делал по хозяйству.

## Хозяйственные дела

Я тоже старался: копал огород, полонил частично грядки – какие попроще, таскал на коромысле воду для поливки, обе стайки чистил – и «чушкину», и коровью, а в коровьей ещё и лазил наверх, забирая снесённые курами яйца. Это надо было делать своевременно, а то некоторые куриные дамы так и норовили самостоятельно засесть высиживать цыплят: и не высидят ничего, и яйца в негодность приведут.

Другое дело, когда отец или мать, собрав сколько надо яиц, сами сажали на них наседку. Под присмотром она благополучно высиживала жёлтеньких цыплят. И у меня наступала ответственная пора. Наседку с цыплятами выпускали во двор, и я должен был их караулить, отгоняя кошек и бдительно поглядывая на небо, где частенько ходил кругами коршун.

Куры, которые без цыплят, а также петухи летом держались взаперти: едва выпустишь из стайки – они сразу лезут в огороды.

Одно лето отец заводил и уток. Вот те были народ дисциплинированный. Выстраивались, как солдаты, и с кряканьем шли со двора плавать в заросшей зеленью луже, которая была за нашим огородом в придорожной канаве. Поплавав, так же строем возвращались во двор – а я должен был успеть нарубить сорной травы из огорода, смешать с отрубями и выложить в корытце. Утки, благодарно крякая, опорожнялись в корытце и снова уходили плавать. Так повторялось несколько раз за день. Яйца они несли зеленоватые, крупнее куриных.

Соседские Витька и Генка Матюхины летом ездили со своим отцом на покос с ночевой, и я им завидовал. Раньше наш отец тоже косил сено для коровы Майки, но, когда пришла пора и меня учить косить, он заболел. Сено мы стали покупать. Воз сена привозила грузовая машина «полуторка» или лошадь, запряжённая в рыдван – телегу с высоченными развалистыми бортами из жердей. Я залезал на чердак, отец вилами подцеплял пласт сена, какой мог поднять, и подавал мне наверх, а я его принимал с вил в охапку и оттаскивал вглубь чердака. Отец часто прерывал работу и, опершись на вилы, тяжело дышал, вытирая пот. А я в это время на чердаке утапывал сваленное, чихая от сенной пыли.

Ну и картошка, конечно. Нам, как и всем, выделялся в полях участок под картошку. Каждый год почему-то в разных местах. Мы брали и по пять, и по восемь соток. Посадка, прополка, окучивание, копка – во всём этом я участвовал лет с шести.

Только не надо думать, что бедный ребёнок был замучен непосильными делами. Дети тогда помогали родителям – так было заведено, и это не обсуждалось.

Тем более что и на игры находилось время, и на многое другое.

## Вылазки за город

Километрах в двух от Завитой, если идти на запад вдоль железной дороги, было мелководное болотистое озеро со смешным названием – Штаны. Не знаю, почему его так называли. Возможно, оно имело очертания распластанных штанов, если глядеть сверху? Но мы этимологией не заморачивались – Штаны да и Штаны. Озеро было извилистое, всё в заливчиках и мысках, и вместо берегов – сплошные кочки. Там мы рыбачили.

Новые мои приятели из соседних домов помогли мне соорудить удочку: леска – из обыкновенной толстой нитки десятый номер, грузило – из обрезка свинцовой пломбы, зубами крепко придавлен-



ного к леске, поплавок – бутылочная пробка с продетым сквозь неё гусиным пером.

Удилище иногда приносилось из дома – с уже привязанной, полностью оснащённой леской, – но чаще просто срезалось в ивовых кустах по дороге.

Наживишь на крючок червяка, подтянешь поплавок на нужную глубину – чуть повыше или пониже – и забросишь снасть подальше. Пробка с продетым пером ляжет на воду набок – и стоишь босыми ногами на кочке или между кочек в болотной жиже, ждёшь, когда поплавок, поднявшись вертикально, начнёт короткими толчками приплясывать вверх-вниз: гольян подошёл! Тут не зевай, иначе стянет червяка и уйдёт. А если поплавок с ходу резко утонет – тогда не волнуйся: это ротан надёжно «зажрал» крючок.

Такой поплавок хорош был для ловли карася, но в Штанах водились только ротаны да гольяны. И мы, наскучив ловить то и дело норовивших сорваться с крючка гольяшек, сдвигали пробку с пером к самому удилищу и, опустив крючок с червяком в воду у самого берега – а точнее, у самых кочек, – начинали, дразня жадных ротанов, опускать и поднимать его, быстро вода удилищем вверх-вниз. Ротаны на пляшущего червяка кидались так, что успевай снимать с крючка.

Не раз приносил я домой бидончик, доверху, без воды, набитый уловом. Мать жарила мою рыбью мелочь всю разом, как нарезанную соломкой картошку, и жарёха эта бралась общей аппетитной корочкой. «Ты смотри – вкусно!» – удивлялся отец. Сам он не рыбачил.

Была у меня одна тайна, связанная с походами на Штаны. На полпути туда находился так называемый Первый мост – обычный железнодорожный мост Транссиба, возведённый над продолговатым узким озерцом с желтоватой мутной водой. Озерцо тоже так и звали – Первый мост. Оно было безрыбное, зато с твёрдыми берегами. Вода в нём сильно поднималась только после затяжных дождей. А обычно в самом глубоком месте – мне, мальцу, от силы по шею. В этом озерце мы, по дороге на Штаны, а потом возвращаясь домой, вволю плюхались в жаркие дни. И там я, глядя на ныряющих и плавающих приятелей, как-то незаметно для самого себя научился плавать – сначала «по-собачьи», а потом и «вразмашку». Но дома об этом помалкивал. Знал, что мать устроит мне выволочку: ведь я лез в воду без присмотра!

Тайна приоткрылась через год, когда нам в той стороне выделили участок под картошку. Мы с отцом, рано утром высадившись с пригородного поезда, пропололи наши рядки – я рвал траву руками, а он рыхлил тяпкой – и пошли домой пешком

по шпалам. День был жаркий, отец беспрестанно снимал шляпу и вытирал платком обильный пот. Когда дошли до Первого моста, я предложил:

– Пап, давай скупнёмся!

Отец согласился. Спустились с насыпи к озерцу. Я разделся, готовый прыгнуть в воду, но отец сказал: «Погоди!» Опустился на коленки на самом краю бережка – и черенком тяпки принялся мерить глубину. Мне стало смешно.

– Пап, да тут неглубоко – по яйца!

– Что-о? – резко обернулся отец. Я осёкся: у нас дома такие словечки были под запретом.

Всё-таки он тоже разделся, зашёл в воду до середины озерца и стал приседать и плескаться, блаженно фыркая. А я не удержался: будь что будет! – и прошлыл перед ним туда и сюда «вразмашку». Он был удивлён – и, по-моему, доволен. Дома матери сказал, что сын, оказывается, плавать умеет, и успокоил её: там мелко!

Но это была не вся тайна! Я уже бегал купаться и на другое озеро – на Большанку. Вот в ней люди иногда тонули. Говорили, будто причина тому – какие-то загадочные водовороты. Но там было так здорово!

Чтобы добраться до Большанки, надо было сначала тут же, на станции, перейти железнодорожные пути. Тоже дело опасное, и тоже были известны несчастные случаи, но что поделаешь – нормального перехода не было, виадук появится ещё только лет через пять. И многие, особенно те, кто жил, как у нас говорили, «за линией», в том числе школьники-первоклашки, ежедневно, под гудками маневровых паровозов, перебежали пути, с малых лет приучаясь не ротозействовать.

Часть Завитой, называемая «за линией», была настоящей деревней. Там казённых домов не было – только частные избушки и халупки. И просторные огороды, все в жёлтых подсолнухах, и тихие, заросшие плотной кудрявой травкой улочки. А на улочках и гуси попадались, и козы, и овцы. Я однажды увидел даже яркого грозного индюка – и долго, не решаясь подойти вплотную, разглядывал этого сказочного не то красавца, не то уродца.

Потом дорога шла через широкое пшеничное поле. Видно было, как среди молодых зелёных колосьев снуют перепёлки. А глянешь вперёд – тянется по всему горизонту гряда невысоких округлых сопок. А в синем небе висит, раскинув крылья, хищный копчик, и весь воздух, и даже весь мир наполняет звенящая в вышине трель невидимого жаворонка, и кажется, что это звенит не жаворонок, а сама небесная, напоённая летним зноем синева... Где всё это осталось, где?..

И вот дорога упирается в довольно высокий песчаный берег. С него видно всё озеро. Оно про-



долговатое, уходит и влево, и вправо. Противоположный берег низкий, травяной. Дальние левый и правый края озера зелены от распластанных по воде листьев кувшинки, и там, следя за поплавками закинутых удочек, стоят рыбаки. Их немного, два-три на всё озеро. Зато тут, на песчаном пляже, смех и веселье. Плещется у берега и валяется в горячем песке в основном ребятня, хотя есть и взрослые купальщики-загоральщики.

А вода чистейшая! Говорили, что в озере подземные ключи бьют. От них, мол, и водовороты бывают. Наплававшись досыта, направляюсь туда, где рыбачат двое взрослых мужиков.

Вот один из них размахнулся длинным составным удилицем – и оно, с гудящим свистом разорвав воздух, выбросило снасть дальше середины озера – грузило булькнуло почти у противоположного берега. У другого удилице лежит на берегу, а сам он не торопясь распутывает спутанную леску. А леска у него – крепкая шёлковая нить, взятая из парашютной стропы: я уже просвещён на этот счёт. С расстановкой говорит напарнику:

– Сейчас есть капроновые жилки – вот они никогда не путаются... Но я их как-то не люблю.

А у берега опущены в воду на проволочном кукане два больших карася. Затаив дыхание, подхожу поближе. Какая у них крупная золотая чешуя! Вздрагивают, разевают рты, шевелят жабрами. А глаза круглые, с золотым ободком вокруг чёрного зрачка...

Спохватываюсь: надо бежать домой. Спросят, где так долго был, – привычно совру, что играл в школьном дворе в войну, а потом на другом квартале в выжигалки. Только кто ж мне поверит: после купания в светлых водах запретной Большанки уж больно я чистенький!

Бегу – и по дороге хватаю горстями пыль, осыпаю себя с головы до ног. Так – надёжнее...

И всё думаю про тех карасей на кукане. Но мать на Большанку рыбачить не отпустит – и мечтать нечего.

## Мечты иногда сбываются

В том доме у клуба, где мы теперь жили, в соседнем с нашим подъезде, жил главный бухгалтер паровозного депо Иван Сергеевич с женой Раисой Андреевной и дочкой Нинкой, немного младше меня. Иван Сергеевич был мужчина в годах, сидящий, приветливо молчаливый и во всех отношениях положительный. По вечерам после ужина он не спеша прогуливался по нашему деревянному тротуару от дома до парка. Раиса Андреевна, домохозяйка, имела обыкновение в

новогодние дни приглашать Нинкиных знакомых девочек и мальчиков и угощать их праздничным – по тогдашним понятиям – обедом: большими домашними котлетами с картофельным пюре, а также сладким компотом.

И вот к ним приехал из Хабаровска на летние каникулы старший Нинкин брат Юра – он учился на последнем курсе мединститута. Солидный такой, чуть полноватый, с усиками.

Юра-то и взял меня с собой на утреннюю зорьку. На карася!

Мать не возражала – с доктором можно и отпустить.

У Юры леска была из капроновой жилки, но всего одна. Он с сомнением осмотрел мою нитку десятый номер, легонько подёргал её на растяжку:

– Ладно, должна выдержать. – Заменяю мой маленький крючок на довольно крупный и сказал: – Завтра будь готов: в три часа утра стукну вам в окошко.

Мы пересекли железнодорожные, вечно бессонные пути, с огнями светофоров и лучами прожекторов, с совиными вскриками маневровых паровозов. Прошли в темноте тихие улочки «за линии», над которыми мигали предутренние звёзды, а затем и спящее поле, где вместо трелей жаворонка слышалось трескучее пение кузнечиков.

На подходе к Большанке только-только занялась заря.

– Как раз успели, – довольно сказал Юра.

Пошли в правый конец озера – где по тропинке, а где прямо по росистой траве. Штаны у меня сразу вымокли, но это был пустяк. Сердце заколотилось, когда я увидел маленькую заводь в окружении осоки, с плавающими листьями кувшинок. Юра показал, куда забросить удочку.

– Поплавок подтяни так, чтобы было сантиметров сорок до крючка. Клевать начнёт – не спеши. Когда поведёт в сторону или вниз потащит – спокойно подсекай и плавно тяни вверх. И сразу – на берег, а то он может в воду сорваться.

Сам прошёл чуть дальше.

Я забросил удочку и, вцепившись руками в удилице, уставился на поплавок. Скоро моя пробка с продетым в неё гусиным пером стала подрагивать и приплясывать – часто-часто, но слабенько. Я сдержал себя: это гольяны, им мой крючок не проглотить. А потом поплавок словно уснул. Я ждал. А зорька разгоралась, стало совсем светло.

Рядом раздался плеск воды – и следом весёлый возглас Юры:

– Есть один!

Я глянул в ту сторону и увидел, как он наклонился в осоке над добычей. Может, покажет мне,



что поймал? Но он не показал, а распрямился и снова закинул удочку. Вздохнув, я повернулся к своему поплавку – и похолодел. Поплавок вело в сторону! И как вело! Он мчался, как миноносец, прямо к зелёным листьям кувшинок. Сейчас уплывёт... Не знаю, как мне удалось не потерять голову. Легонько дёргаю удилице вбок, подсекаю и тащу вверх. О-о, как тяжело тащить... Тальниковое удилице согнулось дугой... И вот он показался из воды – какой широкий, как изгибается, сопротивляясь, и как сверкает мокрым золотом! Ошалев от восторга, смотрю на него... Спыхватившись, в развороте отвожу удилице от воды – и вовремя! Он срывается с крючка в траву.

Выпустив удилице, я кидаюсь на него, хватаю обеими руками, а он вырывается, бьётся, такой сильный, такой толстый в своём почти чёрном хребте! И так волнующе пахнет озёрной глубиной!

Юра, оказывая уважение первой моей удаче, подходит, кивает:

– Ну вот, это уже рыба.

Юра поймал ещё двух карасей, а мне больше не повезло. Но всё равно я шёл домой счастливый. Я нёс не каких-то гольяшек-роташек – у меня в сумке, завернутый в мокрую траву, подрагивал золотой карась! Настоящий лапоть! Ну, если и не лапоть, то уж точно побольше ладони взрослого мужика!

Карась лежал на кухонном столе, ещё не потрошённый, когда я в окно увидел Эдю-Брэдю: он заходил в свою калитку. Я схватил карася. Выскочив из дома, поднял свою добычу за хвост и, распираемый гордостью, крикнул:

– Эдя! Смотри!

Он обернулся на крик – и сказал без особого удивления:

– Что, рыбку поймал?

Я так и остолбенел. Рыбку?.. Он сказал – р ы б к у ?! Про моего-то карася!

Но что было ожидать от этого Эди? Что он понимал в карасях? Он не рыбачил, как и Арик, и все остальные в этом семействе. Они на озеро и купаться-то не помню чтоб ходили.

Однако досада долго не отпускала меня.

А вскоре мне снова пришлось испытать острую досаду. И – смешно сказать – по прямо противоположному поводу.

Из Хабаровска приехала Юрина молодая жена, его однокурсница. Видная такая юная женщина, стройная, весёлая, городская. Они вместе пошли порыбачить на то же место – и меня, не думаю, что с большой охотой, но взяли.

На зорьку мы опоздали, пришли, когда уже было светло. Закинули удочки. Клёва нет и нет.

Я устал смотреть на свой поплавок. Слышу: она запела новую тогда песню про огней так много золотых на улицах Саратова:

Парней так много холостых,  
а я люблю женатого!..

Засмеялась. Снова запела:

Ах, рано он завёл семью...

Опять хихиканье – и молчание. Я оглянулся: они с Юрой целуются. Ну и ладно, бывает. А вот что рыба не клюёт – это плохо.

Так и не дождавшись ни одной поклёвки, стали собираться домой. Я испытывал не столько огорчение от неудачи, сколько чувство неловкости перед гостьей – за то, что наше замечательное озеро так позорно подкачалось!

Но она, поглядев вокруг, задумчиво сказала:

– А места-то красивые!

И я повеселел. Конечно же! Посмотрите на эти плавающие кувшинки, на их чудесные округлые листья и чашечки белых, с жёлтой середкой, цветов! На синюю воду, где отражаются облака. На прозрачные крылышки стрекозы, которые так радужно трепещут, на сверкающую белым крылом озёрную чайку, на весь этот простор...

Я размашисто шагал, слыша позади себя их негромкий, вперемежку со смехом, разговор, и думал: ничего, в другой раз повезёт! Но что-то меня смущало, что-то было не так... И вдруг понял: я ошибся! Я ослышался – опять вообразил не то, что было сказано на самом деле! А на самом деле она сказала:

– А места-то карасиные!

И не задумчиво сказала, а удивлённо и разочарованно.

Обида за родную Большанку разыграла во мне. И досада поднялась теперь не на тех, кто в карасях ничего не понимает, а наоборот – на тех, для кого на карасях свет клином сошёлся. И эта досада была куда сильнее!

До старости лет не избавлюсь я от таких приступов отчаянного детского патриотизма.

## Бесёнок бизнеса

У Генки, сказавшего про Наташку Забудскую, что у неё «кучери, как у короля», был брат Мишка, года на два постарше нас. Он, в отличие от Генки, читать любил.

Этот Мишка меня как-то спрашивает:

– У тебя есть интересные книжки?

И тут же ошеломляет:

– Продай – я куплю!



Растерянно смотрю на Мишку. Знаю, у него карманные деньги есть: отец-то машинист паровоза. Но – продать книжку?.. Это как?.. Деньги за неё взять?.. Да разве можно?..

И тут словно какой-то бесёнок завертелся внутри меня. Колется там рожками, тычет копытцами и хихикает: у тебя же валяется «Тройка без тройки»! И «Слепой музыкант»! Тебе не нужны, а Мишке сойдёт. И денежки получишь...

Всё дальнейшее поплыло, как во сне. Принёс ему обе эти книжки, получил синюю бумажку – целых пять рублей. Сунул их в карман, и они там лежат, будто ворованные. Не зная, что с ними делать, пошёл куда глаза глядят. Пришёл на вокзальный перрон, а в киоске за стеклом – сладкая коврижка, коричневая такая, аппетитная. Давно хотел попробовать.

Продавщица сняла кусок с витрины, положила на весы.

– Всю возьмёшь? Тут на четыре рубля.

Завернула в жёлто-серую обёрточную бумагу, на сдачу дала рубль – такого же примерно цвета бумажку.

Свёрток здоровый, в карман штанов не лезет. А вдруг кто увидит? Возле чужих сараев оглянулся – и мигом залез на чей-то пустой чердак-сеновал. Ел, ел эту коврижку – и половины не осилил. Во рту противно слиплось от сладкого.

Слез с чердака, закинул остаток в заросли дурнишника у придорожной канавы. Напился воды из колонки – вроде стало легче.

Подошёл к дому. Натка в детсаде, отец в больнице, мать на работе. Но куда рубль девать? Смотрю – а через дорогу от нашего дома, у клуба, афиша: «Андрейш». Сказка какая-то. Цветная. До прихода матери успею!

Детский билет – как раз рубль. И вот сижу в кинозале, смотрю цветную сказку. Красиво, интересно. Молдавский пастушок в белой бараньей шапке что-то говорит, на свирели играет, злого волшебника побеждает. Мне бы его заботы...

Выхожу с толпой из клуба – а у калитки мать встречает:

– В кино был, значит! А где деньги взял?

Немного не успел! Теперь и не соврёшь ничего.

Пришлось подробно всё изложить, посотрудничать со следствием. Получил, конечно, положенную порцию бельевой верёвкой по известному месту. Отец на меня ни разу за всю жизнь даже не замахнулся, а мать верёвку не раздумывая пустила в ход, и не сказать, чтобы редко. Бывало, прохаживалась и отцовым ремнём с пряжкой. Но не так уж и больно было от этого шлёпанья. Больше мучило понимание того, что сам виноват – заработал.

## Забегая вперёд

Много позже, где-то после шестого класса, за очередную мою выходку, усугублённую враньём, она замахнулась отцовым ремнём, но я перехватил и сжал её руку. Я был уже сильнее. Она вдруг заплакала. А я, здоровый обалдуй... я тоже заплакал. И с той поры старался ей не врать. Такие повороты.

А в тот раз моё коммерческое предприятие привело в восторг пятилетнюю Натку. Она выдавала про непутёвого брата обличительный шедевр:

Продал книжку –  
Купил коврижку,  
Сходил в кино!

И долго ещё с торжеством декламировала мне: «Продав книжку – купив коврижку...» До тех пор, наверное, пока не научилась выговаривать «л» и «р».

## Трудная тема

Вернусь ненадолго к этой непростой теме – непослушания и вранья.

Я не про свой позорный «бизнес» с продажей книг. Тут я благословляю и мамину бельевую верёвку, и саму судьбу, наглядно показавшую: не суйся не в своё дело, не быть тебе коммерсантом! Что и было потом подтверждено жизнью.

Я про те свои тайные купания в озёрах. Если бы я послушно не лез в воду – то где бы смог научиться плавать?

Или ещё. Отец у кого-то с рук купил лыжи, не новые, – одна лыжина, сломанная, была аккуратно скреплена широким хомутиком из мягкой жести на мелких гвоздиках. Эти лыжи мне прекрасно и долго служили. Но если бы мать, отпуская меня с друзьями «покататься», видела, с каких крутяков, рискуя и ногу сломать, и башку свернуть, несёмся мы вниз с того же железнодорожного тупика на Первом мосту или со склонов большого оврага за городом... Да, всякое могло там случиться. Однако лет через пятнадцать, когда пришлось на лыжах одолевать и утомительные подъёмы, и опасные спуски на таёжных горных перевалах, я добрым словом вспоминал свой мальчишеский опыт.

Всё это так. Но прошли годы – и я сам, на своей шкуре, узнал, что такое родительская боль и тревога – по любому поводу. Каково, хотя бы, бегать в панике по чужим дворам и гаражным закоулкам, разыскивая маленького сынишку, когда он на прогулке с тобой, не успел ты отвернуться,



вдруг исчез – убежал непонятно куда, и кричишь, зовёшь, а его всё нет, а минуты тянутся, чудовищно долгие, как часы, – и нет сил успокоить себя, и уже лезет в голову одно страшнее другого...

К несчастью, бывают и не напрасны такие страхи. Только сбываются они неожиданно. И солонки не постелить...

Малая толика чужого родительского горя открылась мне уже тогда.

Мой товарищ и ровесник Витька Степанов учился в параллельном классе, а жил в соседнем с нами доме. Мы с ним часто дурачились на всё тех же мёрзлых навозных кучах, и помню, как он кричал, идя на меня в атаку:

– Руки прочь от Египёта!

Это был актуальный лозунг. Газет мы не читали, но заголовки «Руки прочь от Египта!» прочитывали – мельком... Витька был паренёк сильный, но не вредный. Мать у него давно умерла, жили они вдвоём с отцом, и я часто бывал в их двухкомнатной квартире, холостяцкой, неприятной, полупустой. Две вещи у них меня привлекали.

Во-первых, патефон. Была всего одна пластинка, с песнями из кинофильма «Дети капитана Гранта». Фильма мы не видели, но пластинку крутили постоянно. Она зажигала боевым задором:

Кто привык за победу бороться,  
С нами вместе пускай пропоёт:  
Кто весел, тот смеётся,  
Кто хочет, тот добьётся,  
Кто ищет – тот всегда найдёт!

А на обратной стороне – лукаво подстёгивала:

Капитан, капитан, улыбнитесь,  
Ведь улыбка – это флаг корабля...

А во-вторых, у Витьки был настоящий боевой наган. Ну, если уж быть точным, остов от нагана: ствол и ржавый скелет корпуса, с прямоугольной дырой на месте барабана. И всё равно было здорово держать его в руке и во что-нибудь целиться.

Иногда я заставлял Витькиного отца. Это был высокий мужчина, суровый, всегда мрачновато сосредоточенный, но не злой. Помню, я у него спросил, вертя в руках остов нагана:

– А что лучше – наган или револьвер?

Он с некоторой досадой, будто его отвлекли от какой-то мысли, пожал плечом:

– Наган и есть револьвер. – Помолчав, добавил: – Есть револьвер системы Наган, есть револьвер системы Браунинг...

А ещё он запомнился мне у гроба своего сына.

Да, после пятого класса, летом, мой хороший товарищ Витька Степанов утонул в той самой Большанке. Как это случилось – я не видел, меня

в тот день на озере не было. Однако по всему выходило, что он, крепкий мальчишка, умевший плавать, утонул на довольно мелком месте. Опять болтали про какие-то водовороты, якобы внезапно возникающие в том озере. Какие водовороты? Рядом плескалась малышня – и вдруг увидели, что он плавает, полупогружённый в воду – и неживой... Может, внезапная судорога схватила – и он, неловко дёрнувшись, захлебнулся... Кто знает?

Почему-то не помню я Витьку лежащим в гробу. Но помню, как согнулся над гробом его отец. Огромный, с худым посеревшим лицом, он не плакал, а только, плотно сжав губы и мелко вздрагивая, по-собачьи издавал короткие скулящие звуки. Это было страшнее слёз.

## О чём мечтал Том Сойер,

или

### Преимственность поколений

Мишке купленная у меня «Тройка без тройки» понравилась – и это была хоть какая-то капля оправдания моему постыдному деянию!

И я, всегда расположенный к разговору о книжках, у него спросил:

– А ты читал про Тома Сойера? Правда, здорово?

– Да, – кивнул Мишка. И вдруг, глядя вдаль, с какой-то тёплой грустью, задушевно так, произнёс: – Он мечтал о красном галстуке!

Я опять растерялся. Когда и где Том Сойер мечтал о красном галстуке – мне что-то не припоминалось. Но если и мечтал, то, наверное, о взрослом красном галстуке. О буржуйском! А Мишка явно решил, что о нашем – пионерском! Это как же надо было умудриться мечтать о таком галстуке за сто лет до того, как красногалстучная пионерия вообще появится – и не в Америке даже?

Но я промолчал. Общение наше, двух книжечек, на том и заглохло.

А красный галстук я уже носил. Ещё во втором классе, в день рождения Ленина, двадцать второго апреля, пришли парни-семиклассники и стали наши тяжеленные парты громоздить одна на другую. Парты первого и второго ряда частью подняли на третий ряд, а частью сдвинули в конец класса, тоже поставив в два яруса. Обшарпанный пол на освобождённой территории классной комнаты уборщица помыла. Нас выстроили в две шеренги, спиной к окнам. Не весь класс, а человек тридцать из сорока. Остальных, двоечников и балбесов, пока сочли недостойными. Молодая завуч сказала торжественные слова. За комсомолкой – стар-



шей пионервожатой – мы хором повторили слова пионерской клятвы: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей...» Нам повязали заранее купленные и принесённые нами же красные галстуки. И показали, как делать рукой пионерский салют, а в ответ на призыв: «К борьбе за дело Ленина – Сталина будьте готовы!» – отвечать: «Всегда готовы!»

Потом ребята постарше научили нас другому ритуалу: схватить у кого-нибудь галстук прямо на груди и, крепко держа его в кулаке, требовать: «Ответь за галстук!» Отвечать же следовало так: «Не трожь рабоче-крестьянскую кровь – она и так пролита!»

Старшая пионервожатая нас убеждала:  
– Никаких ответов за галстук не существует! Не делайте этого!

А нам этот неформальный обряд нравился. И только со временем стало, конечно же, смешно.

«Пионер – всем ребятам пример!» – был такой лозунг. Но не замечалось, чтобы он как-то воплощался в жизнь. Меня, например, и до принятия в пионеры злостным нарушителем дисциплины никто бы не назвал. Был обыкновенным обормотом, как все. И в пионерах таким же остался.

В третьем классе мать сшила мне из купленной на базаре солдатской гимнастёрки мундир настоящего военного покроя – со стоячим воротником и жёлтыми металлическими пуговицами со звёздочками. С гордостью явился я в нём в школу! Но на первой же перемене подрался не помню с кем, и мой враг запустил в меня пластмассовой чернильницей-«непроливайкой». А «непроливайка» – название условное. Стукнувшись мне в грудь, она благополучно пролилась – и замечательный, защитного цвета мундир украсило большое тёмно-фиолетовое пятно. Удивительно, что чернила не попали на повязанный поверх стоячего военного воротника красный галстук. Наверное, он во время потасовки набок съехал.

Чернильные пятна не отстирываются – мамина бельевая верёвка эту истину до меня незамедлительно довела. И целый год пришлось щеголять в мундире цвета хаки с фиолетовым «орденом» на груди.

Я всё не мог понять: почему у некоторых – у той же Наташи Забудской – концы галстуков на груди такие ровные, разглаженные, а у других, в том числе и у меня, свёрнуты в мышинные хвостики, хотя я по своему галстуку регулярно еложу нагретым на печке утюгом.

Оказалось, что они из разных тканей: гладкие – из шёлка, а хвостики – хлопчатобумажные. Купили мне потом новый, но всё равно не шёлковый. И я был рад вдвойне, когда мать взамен злополуч-

ного мундира сшила мне вельветовую куртку с воротником на застёжке-молнии: под курткой красные хвостики так удобно прятались – и гладить их стало уже ни к чему.

«Октябрюта» – такого слова мы в начальной школе и не слышали. Октябрюта появятся, уже когда Натка будет учиться в первом классе. Фабричные октябрютские значки – эмалевые красные звёздочки с портретом маленького кудрявого Володи Ульянова – ещё не выпускались. Звёздочки велено было сделать родителям или старшим братьям и сёстрам. Я, пятиклассник, отрезал кусочек от переплёта бывшей у родителей книги Горького «Дело Артамоновых» – мне понравился очень плотный, прочный картон. Вырезал пятиконечную звёздочку и обшил её кумачом своего старого галстука. А потом, как звеньевой, носивший красную нашивку на рукаве, привёл своё пионерское звено в сестрёнкин первый класс, и мы прикололи первоклашкам самодельные звёздочки булавами на рубашки, платья и фартучки. Младшему поколению – от старших товарищей!

Вполне торжественно вышло.

Пионерским звеньевым меня выбрали (а точнее – с учительской подачи утвердили) лишь за то, что хорошо учился. Пионерский вожак из меня был никудышный.

А однажды поручили сделать стенгазету с критикой двоечников. Я сам и цветные карикатуры нарисовал, и стихи сочинил. Один из них помню:

Наш Долгов хватает двойки  
Через день да каждый день.  
Он за партой сидит бойкий,  
У доски стоит, как пенёк.

После этого меня, к моей великой радости, перевели из звеньевых в редакторы.

А первый в жизни стишок, исполненный беспросветной меланхолии (чистый Козьма Прутков!), мною был написан ещё во втором классе, во время болезни:

Вот уж три дня, как я лежу в постели,  
Ещё четыре дня осталось пролежать,  
И мне уже до смерти надоели  
Подушка, одеяло и кровать.

Врач говорит, что гриппом я болею  
И что таблетки надо мне глотать,  
И я лежу, лежу один в постели  
С температурой тридцать семь и пять.

Но время стихов ещё не пришло. Оно придёт – и обрушится на меня, как ливень и ураган, – лишь в девятом классе. А пока другое увлекало.



## Снова «лихой наездник». Как важно мыть чайники

Наша деревянная двухэтажная школа-семи-летка, как я уже говорил, была недалеко, в пяти минутах ходьбы. Но примерно такая же деревянная школа стояла и вовсе рядом – на перекрёстке улиц Кирова и Чапаева, наискосок от нашего дома. Только это была десятилетка, с классами от восьмого по десятый, в неё и Арик ходил. Я в этой школе никогда не учился. Зато усердно учился... в её просторном, а летом совсем пустынном дворе.

Дело в том, что Эдя-Брэдя, несмотря на наши с ним вечные мелкие стычки, был нежадный мальчуган – и охотно давал мне свой велосипед, который я и заводил ежедневно в школьный двор. Этот старинный немецкий велосипед отдал ему дед. У велосипеда был тяжеловатый ход, а у одной педали вместо обычной ступеньки торчал железный штырь, с которого неловко соскальзывала нога. Велосипед был мне велик, до седла я достать не мог, и даже через раму не мог ногу перекинуть, чтобы ездить, как у нас говорили, «на раме». Поэтому ездил «в раме», то есть скособочившись, заведя в раму одну ногу, чтобы поставить её на педаль противоположной стороны.

Да и не ездил поначалу – а учился ездить! Никто меня не наставлял, не помогал, не страховал от падений. Раз за разом грохался вместе с тяжёлым «драндулетом» на пыльную, всю в острых камешках землю школьного двора, обдирая колени и локти. Но понемногу начал проезжать, не падая, четыре-пять метров, потом полкруга по двору, потом круг, другой, третий – и наконец выехал и прокатился по нашей улице Кирова: от школы и клуба до самых ворот парка – и назад.

### *Забегая вперёд*

Посмотрел мой батя на такое дело – и, хоть не сразу, а только года через два-три, уже после шестого класса, но зато с лёгким сердцем купил мне голубую «Каму»! Не просто купил, а с хозяйским расчётом. Привязав к раме тяпку, укрепив на багажнике бидончик с водой и узелок с перекусом, я ездил за город, в поле, и один, за несколько поездок, пропалывал или окучивал весь наш картофельный участок. А в конце лета гонял по трассе, в направлении деревни Камышенки, на дальние орешники, возвращаясь с мешком орехов – не шелушённых, конечно, а в обёртках из толстых сочных листиков. А как-то раз топал оттуда домой восемь с лишним километров пешком, ведя

свою «Каму» аж с двумя мешками орехов – один в раме, другой на раме. Ну а гонки с друзьями через весь город и за город – это само собой...

И всё-таки однажды, в конце четвёртого класса, я пришёл не в знакомый до боли – в битых коленках! – двор этой десятилетки, а в само школьное здание. На кружок рисования. Позвал меня туда Толян Молчанов. «Давай сходим! Там, говорят, здорово!»

Пришли. Сидят и рисуют в основном старшеклассники. Учитель меня сразу порадовал своим видом. Жилистый, смуглый, стремительный в движениях, с тёмными, зачёсанными со лба назад густыми волосами, – и цепким взглядом чёрных глаз, которые то и дело остро, даже въедливо щурились.

– Ещё новенькие пришли? Садитесь вот здесь и смотрите.

Мы сели рядом с мальчишкой и девчонкой, которые не рисовали, а просто сидели – тоже, значит, новенькие.

Старшеклассники срисовывали странные вещи, выставленные у доски на каких-то подставках. Это были шар и куб, очень белые, без единого пятнышка. А также – я не поверил своим глазам – ухо! Да, человеческое ухо – только белое и огромное, раз в десять больше нормального. И – нос! Тоже смертельно белый, тоже огромный. Страшновато он выглядел...

Я, косясь и вытягивая шею, смотрел в альбомы. Кто рисовал куб, кто шар, а кто – и ухо, и нос. Но все, я заметил, делали одинаково: они часто-часто водили карандашом, сначала слабенько, а потом нажимая всё сильнее, и карандаш, оставляя поначалу едва заметные следы, потом, передвигаясь по бумаге, чертил всё темнее и темнее, и я с удивлением видел, как прямо на глазах зачерченная поверхность выгибалась! И шар, и ухо становились выпуклыми, будто вылезали из бумаги! Вот это да...

Сидели мы недолго – урок закончился.

Учитель задержал нас, новеньких, записал в тетрадку имена-фамилии, кто где учится, и сказал:

– Меня зовут Сергей Григорьевич. Занятия через неделю. За это время нарисуйте дома что-нибудь. Поставьте перед собой натуру – ну, кувшин, куклу, инструмент какой-нибудь – кому что понравится. И попробуйте нарисовать похоже. А мы посмотрим.

Дома я огляделся: что бы срисовать? Приглянулся заварной фарфоровый чайник. Он был весь в коричневых следах чая. Я его тщательно отмыл, и он засиял белизной – не хуже того белого носа!

Старательно набросал в альбоме тонкими штрихами общие контуры чайника. А потом, гля-



дя, как закругляются на белых фарфоровых боках тени, переходя от светлого к тёмному, стал, как те старшеклассники, делать карандашом растушёвку – сначала слабенько, а потом со всё большим нажимом, чтобы получились такие же тени. Хотя самих этих слов – контур, штрихи, растушёвка – я ещё не знал. Просто радовался, что чайник постепенно становится выпуклым и объёмным.

Через неделю пришли на кружок. Толян нарисовал на альбомном листе инструменты: топор, ножовку, молоток. Все изображены контуром, отдельно друг от друга, вид сверху. Сергей Григорьевич посмотрел, сказал: «Та-ак», взял у тех двоих рисунки – и опять: «Та-ак... Та-ак...» Глянул на мой рисунок, резко наклонился к нему, потом так же резко откинул голову, пронзая его острым прищуром, и сказал:

– О! Это уже хорошо... это уже лучше...

И дал мне задание рисовать этот странный белый куб – гипсовый, как я наконец узнал.

А про Толяна и тех двоих не помню – или они тоже сели рисовать куб, или сразу перестали ходить на кружок. Да и я приходил ещё раза два, не больше – наступили каникулы.

## Деревянная моя, незабвенная

В нашей деревянной двухэтажной семилетке (потом она стала восьмилеткой) было – если сравнивать с нынешними школами – очень много учителей мужчин. И сам директор, и физик (сын директора, кстати), и учителя географии, математики, пения, рисования, физкультуры, труда (причём трудовиков было двое), одно время – и истории, и английского. Даже школьный библиотекарь был мужчина – низенький горбатенький Иван Григорьевич. Но главное не в том, что они были мужчины, а в том, что это были люди толковые – и на своём месте. Как, впрочем, и женщины, учившие нас. Нисколько не вру: обо всех, кого из учителей и учительниц помню, у меня язык не повернётся худое слово произнести.

Но среди педагогов выделялись энтузиасты. Фанатики.

Сергей Григорьевич Ческидов, учитель рисования и черчения, давал уроки в обеих школах: и в десятилетке, и в нашей семилетке – в пятых-седьмых классах. Он окончил училище, где рисунок преподавал не кто-нибудь, а ученик самого Крамского. Те, кто понимает, оценят уровень подготовки нашего учителя. Он никогда не делал замечаний вроде: «тихо!.. не вертись!.. выйди из класса!..» – не было такой нужды. Стремительно входил, обводил класс своим пронзительным взглядом и говорил:

– Сегодня изучаем штриховку!

И все затихали: сейчас начнутся чудеса.

Он оборачивался к чёрной лакированной классной доске и одним широким взмахом руки чертил мелом безупречный круг – подходи и проверь циркулем!

Потом мелом начинал штриховку: внутри окружности, с самого края, чертил мелом полудугу, довольно жирную; рядом, чуть ближе к центру, ещё полудугу, параллельную первой, но чуть потоньше и покороче; потом третью, ещё тоньше и короче – и так почти к самому центру окружности. И на наших глазах круг превращался в выпуклый шар.

Он приносил чучело скворца – и мы увлечённо рисовали скворца. Он просил кого-нибудь из ребят или девочек постоять у доски – и весь класс быстро делал наброски, не рисуя лица, но стараясь точно сохранить все пропорции и позу стоящего. А Сергей Григорьевич шёл между рядов, подсказывая и поправляя. И ведь у всех что-то, да получалось, и каждый, даже самый безнадёжный рисовальщик, испытал вкус хоть маленькой, но удачи.

В школьном коридоре на втором этаже, в том месте, куда с первого этажа поднималась лестница, была довольно широкая светлая площадка – и там висел огромный, во всю стену высотой, незагрунтованный холст, а на нём – написанный красками, сухой кистью, портрет Сталина. Качество работы было ошеломительное. И написал это Сергей Григорьевич.

Портрет, конечно, потом убрали – и, подозреваю, уничтожили.

Сергей Григорьевич вёл не только кружок рисования, но и драматический. И туда отбою не было от старшеклассников. Он был и режиссёром, и главным декоратором, учил и актёров, и оформителей, и всё это делал в своей неподражаемой манере: стремительно – и в то же время обстоятельно, разъясняя всё просто и доходчиво, без дёрганий и понуканий. Школа дала в нашем клубе несколько спектаклей, с продажей недорогих билетов, и зрители – дети и взрослые – заполняли зал до отказа. Меня особенно восхитил спектакль-сказка с роскошными декорациями, с русскими богатырями и красавицами. Кстати, мечи для богатырей изготовил из дерева Арик, и они, покрашенные аллюминиевым порошком, грозно сверкали со сцены.

Жена Сергея Григорьевича, Пелагея Михайловна, преподавала ботанику. Работе своей отдавалась с не меньшим фанатизмом, обучая юных натуралистов (в основном, конечно, девочек) в обширном пришкольном саду. Женщина она была



очень добрая и, без всякой иронии, деревенская. Речь её была простая, с налётом не местного, а какого-то среднерусского говора, может, рязанского. Мы её за глаза звали Палаша. Предмет свой она тем не менее объясняла толково и интересно, а осенние школьные юннатские выставки (огромные оранжевые тыквы, жёлтые и красные ранетки, пышные георгины и астры и многое другое) всегда вносили в начало учебного года заметную нотку радости.

Математику вёл Николай Фёдорович Коваленко, бывший кадровый офицер. Худощавый, подтянутый, он всегда ходил в защитном военном кителе с глухим стоячим воротником, без погон, в синих галифе и блестящих хромовых сапогах. Был очень строг. Хотя мог и смешно пошутить, снимая излишнее напряжение класса. Но брал он не столько строгостью, сколько умением чётко и увлекательно вести урок, а ещё тем, что часто устраивал летучие конкурсы: кто найдёт другое решение этой задачки? Или: кто найдёт большее число вариантов её решения? Счёт шёл на минуты, лихорадочно работал весь класс. Я не забуду, как однажды, на геометрии, сумел найти целых пять вариантов. Но ещё больше памятен мне – да и многим, наверное, – случай, когда он матёрому двоечнику Данилову за удачно найденное решение громкогласно вклеил... пятёрку. Замшелый лоботряс был ошарашен – и после этого в математике более или менее подтянулся, стараясь память о своём звёздном часе в грязь не втоптать.

Однажды, в начале октября, Николай Фёдорович пришёл на урок не в военном кителе и сапогах, а в странно изменившем его привычный вид гражданском двубортном костюме, при галстуке, в новеньких полуботинках. Девчонки ахнули, да и мы, ребята, озадаченно взирали на него.

Наш пятый класс, как обычно, встал, приветствуя учителя. А он не сказал «садитесь». Обвёл всех каким-то непонятным, горящим взглядом – и торжественно произнёс:

– Сегодня великий праздник! – Помолчал, словно стараясь продлить наше недоумение, и продолжил отдельно и веско: – Сегодня мы запустили в космос искусственный спутник Земли! А это... – Он снова обвёл всех горящими глазами. – ...это вторая Луна, только маленькая!

У всех дома было радио, и многие из нас мельком слышали перед уходом в школу про какой-то спутник, да уже и забыли. А теперь, молча переглядываясь, мы заново вникали в его слова. И минуты эти запомнилось навсегда.

Прошло несколько дней. Мы сидели на уроке географии, развернув на партах свои атласы, где

на развороте была физическая карта полушарий: голубые моря, зелёные низменности, жёлтые возвышенности, коричневые горные хребты. Витька Тупичкин что-то черкнул на своей карте наливной авторучкой и толкнул меня в бок: «Смотри!»

Я увидел у Западного полушария, над Чукоткой, нарисованный им маленький кружочек с тремя штрихами сзади. «Спутник летит!» – сказал Витька и засмеялся.

Я тоже засмеялся: здорово он придумал!

Так – мимоходом, незаметно, но и бесповоротно – в наше сознание начинала вселяться новая, космическая эра.

Уроки в школе велись в две смены. Но и после уроков долго не гасли окна в обоих этажах. В спортзале шли занятия то волейболистов, то гимнастов, в соседнем классе сидели над досками тихие шахматисты. Из дверей физкабинета тянуло запахом горячей канифоли – там на кружке физики что-то паяли. В других классных комнатах готовились к разным мероприятиям или оформляли стенгазету, учителя и успевающие ученики (обычно девчонки) подтягивали отстающих. На все два этажа то гремела под звуки баяна, то резко затихала хоровая песня – это учитель пения Прокопий Гаврилович вёл занятия школьного хора. Бездельники шлялись по коридорам, открывали двери классов, корча рожи и гыгыкая – и не столько из вредности, сколько из желания пообщаться.

Магнитом тянула к себе школа по вечерам. Даже тех тянула, кто днём на уроках изнывал от желания смыться на улицу.

## Ранние авансы

«Авансы юности опасны!» – написал с фирменной своей хлесткостью Андрей Вознесенский. Он имел в виду ранние успехи в чём-либо.

Я бы добавил, что и авансы детства... ну, опасны они или не очень – не знаю, но с панталыку сбить могут. Похвалы взрослых способны пустить тебя по ложному пути, вызвать соблазн делать не то, к чему ты предназначен. Блуждание по чужим территориям бывает полезно, как всякий опыт, однако важно, чтобы оно не затянулось.

В пятом-шестом классах я увлёкся физикой. Из толстенной «Книги вожатого» – потрясающей, между прочим, энциклопедичности была эта книга! – вычитал, как сделать «реактивную тележку», и немедленно таковую соорудил. Зажжённый огарок свечки нагревал до кипения воду в пробирке, пробка из неё вылетала – и маленькая, на катушках от ниток вместо колёс, тележка,



на которой были установлены и пробирка, и свечка, — дёрнувшись от «реактивной тяги», проезжала через весь стол!

Дальше — больше. В моде было выжигание картинок по фанере. Я сделал деревянную рукоять, на ней укрепил главную часть выжигателя — жало из нихромовой проволоочки, взятой мною из спирали домашней электроплитки. Подсоединил электрический шнур с вилкой. Но включать инструмент напрямую в сеть было нельзя — проволока мигом сторит. Требовался трансформатор, понижающий напряжение до двенадцати вольт. И вот — теперь даже не верится — нашёл на свалке у дома связи подходящий сердечник, где-то выщипал огромный моток тонкого медного провода — и сам сделал трансформатор. Выжигатель работал исправно.

Стал ходить на кружок физики, чего-то там умничал, вызывая удивлённые и одобрительные замечания физика нашего, Льва Николаевича. Сейчас, наверное, не все знают, что такое не транзисторный, не ламповый даже, а детекторный радиоприёмник. Он и тогда уже был экзотической древностью. Я сплавил свинец и серу, остывший сплав расколол, выбрал подходящий, с блёстками, кусок. Получился детекторный кристалл. Надев наушники, водил по этому кристаллу иголкой. В наушниках раздавался треск — и вдруг прорывалась радиопередача из Благовещенска или непонятная китайская речь.

Кто-то из ходивших на кружок даже пытался дать мне кличку «Фарадей». Она, слава Богу, не прижилась. Я её не заслуживал — и сам чувствовал это. К физике в конце концов охладел. Записался было в городской радиокружок, начал делать двухламповый приёмник, но стало невыносимо скучно — и бросил.

А в основе этого затянувшегося наваждения были опять-таки книжки. Те советские научно-популярные, в которых заманчиво излагалось, как делали свои открытия Галилей, Ньютон и прочие стародавние великие. Тысячи будущих технарей и кандидатов наук нашли свой путь благодаря в том числе и им, этим книжкам, в которых меня увлекла, увя, только внешняя, декоративная сторона науки, они затронули во мне всего лишь художественную жилку. Других жилок и не было.

Это отразится годы спустя в стихах:

Век, в коем был я астрономом, —  
Как занимательный пролог:  
Камзол, парик, и время оно,  
И неба синий лепесток...

Вот именно: камзол, парик... Тут собака и зарыта.

С художественной жилкой тоже не так всё просто.

Сергей Григорьевич с самого начала выделял меня из многих. С долей понятного тщеславия сообщу, что в шестом классе я вместе с Сергеем Григорьевичем оформлял стену физкультурного зала, где стояла ёлка. Сам он нарисовал цветной гуашью Старый Год, в виде Деда Мороза в красном тулупе, а мне доверил изобразить в таком же стиле маленький Новый Год, в виде румяного весёлого малыша, тоже в красном тулупчике. Заданный стиль, довольно простой, я умудрился выдержать, не сфальшивил.

### *Забегая вперёд*

В восьмом классе Сергей Григорьевич как-то пригласил меня к себе домой. Пелагея Михайловна угостила нас чаем и пышными оладьями с домашним вареньем. А потом он в комнате поставил натуру: на белой скатёрке — блюде с двумя румяными оладушками, а рядом — стакан чая в подстаканнике, с опущенной в чай ложечкой. Нейтральным фоном этому натюрморту послужила серая задняя сторонка переплёта какой-то большой книги. Положил передо мной коробку масляных красок в тюбиках, кисти, скипидар, чистую тряпочку, небольшую палитру и прямоугольный кусок загрунтованного картона.

Я карандашом набросал на картоне всю композицию и стал перебирать тюбики. Впервые в жизни смотрел, как вылезают на палитру жирные яркие червячки. Пахли краски восхитительно.

Он подсказал, какие краски добавить в белила для серого фона.

— Фон пиши самой широкой кистью, вот этой. Не зализывай, смелей работай. — Забрал у меня кисть, сделал два-три размашистых мазка. — Вот так!

Покончив с фоном, я взялся за оладушки и блюде. Он смотрел.

— Здесь пережелтил, ну-ка в охру — чуточку сиены... А тут наоборот — чуточку кадмия лимонного... Так... А в этом месте, где оладушек малость пригорел... Нет-нет, чёрную не трогай, лучше кобальту синего добавь... Ишь, как горелое заблестело!.. А тень на блюде... та-ак, правильно угадал... А здесь засинил — дай-ка мне кисть... Ну а теперь задачка потруднее — чай в стекле!..

Часа два работы пролетели как миг, и вот я смотрю на готовый натюрморт — насмотреться не могу. Какое единство разного! Оладушки — тёплые, домашние, мельхиоровый подстаканник и ложечка — с холодноватым официальным блеском, а чайная тьма в стакане будто прячет в себе какую-то тайну.



И пусть это наполовину написано Сергеем Григорьевичем – но всё-таки!..

Я унёс домой натюрморт, а с ним – подаренные мне тюбики и две-три кисточки.

Загрунтованного картона у меня не было, но Сергей Григорьевич подробно объяснил, как делать грунтовку. Я отрезал кусок старой клеёнки и загрунтовал её изнанку. На синюю скатерть поместил отцовы принадлежности для бритья, в том числе помазок в пластмассовой чашечке и уже слегка обмыленный по углам кусок розового туалетного мыла. Для фона поднял край той же синей скатерти. Писал, держа в памяти советы учителя. Долго прописывал старый помазок – вернее, его деревянную ручку, на которой от долгой службы облезла коричневая лаковая покраска. Зато получилось точь-в-точь – все мельчайшие потёртости видны!

Принёс. Сергей Григорьевич окинул мой натюрморт стремительным прищуром.

– Так. Помазок ты засушил. А мыло отлично схвачено – вон какие свободные мазки!

У них на квартире я впервые увидел работы французских импрессионистов в огромном, изданном в Германии альбоме. Сидел, с изумлением переворачивая страницы, и будто кружился в нескончаемом празднике красок, обрызганных солнцем.

Сергей Григорьевич, ткнув пальцем в пейзаж пуантилиста Жоржа Сёра, весело хмыкнул: «Смотри-ка – точками у него всё сделано, точками!» Кажется, импрессионисты его не столько восхищали, сколько забавляли.

Альбом прислал из Москвы их сын, заканчивавший архитектурный институт. Сергей Григорьевич всерьёз был уверен, что и я после школы буду поступать туда же – или, в крайнем случае, куда-нибудь на худграф. Но я выбрал другое. И этим, как потом понял, нанёс ему обиду.

Уже студентом филфака, приехав из Благовещенска в гости к родителям, я столкнулся с ним на деревянном завитинском тротуаре. В ответ на моё радостное приветствие он сухо кивнул и прошёл мимо, даже не замедлив шага.

До сих пор ощущаю вину перед ним. И всё же считаю, что я был прав.

Да, какие-то успехи в рисовании за мной числились. Эффектно выглядело умение точно схватывать карандашом лица с натуры. Помню портреты отца (в двенадцать лет нарисовал), матери, сестры, друга моего Борьки Тищенко, свои автопортреты... В девятом классе, учась уже в новой, кирпичной школе «за линией», по предложению Сергея Григорьевича начал рисовать галерею портретов школьных отличников. Потом затея

была заброшена, но один портрет сделал – красавицы и скромницы Наташи Забудской, нашей кареглазой блондинки. Этот портрет был отправлен в Читку, на выставку творчества школьников Забайкальской железной дороги, да там и сгинул.

Вроде и были основания гордиться, но что-то меня грызло. Случайно понял, что именно.

Познакомился с одним парнишкой, Валеркой Никаноровым. Мне было уже шестнадцать, а ему четырнадцать. Он сказал, что тоже рисует. Я снизошёл к салаге: ну, покажи. Поглядел его наброски – и прикусил губу. Склон сопки с видом на поле... уголок озера... полянка у берёзовой рощи... Что-то чёрной тушью, что-то акварельными красками, что-то тем и другим вместе... Ничего особенного, в общем-то...

Но я сразу увидел главное: уверенность быстрого штриха и свободного мазка. Врождённую уверенность и точность – Валерка никаких кружков рисования не посещал! У меня этого дара не было. Я рисовал осторожно, напряжённо, поминутно опасаясь заехать карандашом или кистью не туда.

Конечно, упорным трудом можно выработать профессиональную мастеровитость. Но за это же время, приложив упорный труд, десятки таких Валерок куда умчатся? За недостижимый для меня горизонт! Я, конечно, столь логически не рассуждал. Спинным мозгом почувствовал эту истину – и принял её.

Упомянутый кусок розового мыла – это всё, что мне когда-либо удалось написать уверенными мазками.

Но где был мой премудрый спинной мозг, когда, окончив в вечерней школе десятый класс, я, юный слесарь паровозного депо, всерьёз возмечтал поехать в Москву учиться на физика-ядерщика? Видимо, та детская дурь полностью ещё не выветрилась.

От нелепого шага спасла меня бедность нашей семьи. На какие шиши поехал бы я в Москву?

## Рассказы родителей

Я мог воображать себя кем угодно: вдохновенным вихрастым физиком, живописцем с гениальным прищуром, обветренным лихим моряком... Но всегда неосознанно тянулся к тому, что волновало по-настоящему – к магическому, неохватному, как вселенная, неотразимому в своей притягательности явлению. И это было – слово. Язык.

Книги – да. Книгам всегда низкий поклон. Но живая речь ещё больше удивляла смыслами и оттенками. Даже наша пацаньячья – уличная и



дворовая. Она, кстати, от нынешней отличалась. Например, слово «шакал» у нас не было ни ругательным, ни презрительным, а являлось всего лишь синонимом слову «пацан». Мы говорили: «Это наши шакалы... Он шакал нормальный...» Имя «Коля» произносили с блатным шиком — «Кыля». А восклицание «мощё!» подразумевало не характеристику измождённому человеку, а высшую похвалу чему угодно: «Здóрово! Интересно! Вкусно!» Мощё — не потому, что мо́щи, а потому что мощно!

Слушая рассказы отца и матери об их родных краях, я впитывал в себя далёкие от наших мест речевые ароматы — и как-то по-родственному, по-свойски придвигалась ко мне география огромной страны, да и история тоже.

Мать была родом из Елабуги, ныне это Татарстан, а прежде — Вятская губерния. Она говорила обычным русским языком, как большинство в дальневосточных городах, где ни один из «приезжих» диалектов не возобладал над прочими, а Всесоюзное радио все говоры подравняло под общую норму. Но всё же у неё то и дело проскальзывали нездешние словечки. Ватрушку она называла «шанежкой», вместо «говядина» говорила «скотское», обычную паутину именовала пугающим словом «тенёта», а паук у неё и вовсе был не паук, а какой-то загадочный «мизгирь» — в этом имени слышалось что-то древнее, чародейское.

А когда сыпала поговорками, вятский говорок, с его непередаваемыми на письме интонациями, вливался в её речь, как свежий воздух в открытую форточку: «Не отведашь реденьки, дак не поешь и свёколки», «Кушай, кумушка, девятую шанежку, я же не считаю», «Сердилась баба на базар, а базар и не знал», «Голому собрацца — только подпоясацца», «Бедному женицца — и ночь коротка».

Всю мамину родню, о которой она рассказывала, я будто вживую видел благодаря этим вятским словечкам и поговоркам. Но для матери моей не чужим был и иной язык.

Её отец, Игнатий Андреевич Пупышев, мой вятский дед, владел жестяной мастерской, где работали у него не наёмные рабочие, а сыновья — родные и приёмные. Моя мать в детстве, уже после его смерти, слышала от тётушек такую историю. Однажды её отец с двумя сыновьями был в деловой поездке: настелили заказчикам железные кровли, возвращались при деньгах. Ночевать остановились у татар на постоялом дворе. Когда укладывались спать, отец услышал разговор хозяина с работниками за стенкой. Речь шла о деньгах постояльцев. И об их жизнях, разумеется. Игнатий Андреевич никогда не показывал, что понимает по-татарски. Это их и спасло. Шёпотом тут же велел сыновьям тихонько одеться и ждать

сигнала. Сам вышел, будто до ветру, быстро запряг лошадей, открыл ворота и громко свистнул. Сыновья выскочили, прыгнули в таратайку — и лошади вынесли их всех со двора. Хозяин с работниками выбежали, но успели только выругаться вслед.

В семье не без уroda — а в общем-то, вспоминала мать, русские с татарами жили мирно. Она сама росла среди татарчат и язык этот знала, как родной.

Помню, как работавшая уже не счетоводом, а киоскёршей на вокзале мать пришла домой радостно взволнованная. Рассказала: остановился поезд, к киоску подошли трое пассажиров: двое молодых людей и девушка. Обсуждают, что купить.

— Слышу — разговаривают на татарском! Говорю им: пирожки свежие — «яна». А они обрадовались: ты татарка? «Син татарча?» Да нет, смеюсь, я русская, «мин рус». Они не верят: не может быть, такой чистый выговор. Ну, рассказала им, откуда я родом. Поговорили по-татарски... Как в детстве побывала, честное слово!

Поскольку Игнатий Пупышев, владелец жестяной мастерской, наёмных работников не держал, он слишком суровым репрессиям при советской власти не подвергся. Хотя в кутузке его в годы нэпа подержали. Мать вспоминала, как её юная мачеха носила куда-то серебряные ложки — и его отпустили. Умер он в 1930 году от рака в возрасте шестидесяти семи лет, оставив молодую жену с грудным младенцем на руках. Матери моей было тогда семь лет. Воспитывали её родные тётушки. Скитаясь по родне, жила в Елабуге, в Перми, в уральском Кунгуре.

Перед войной, окончив семилетку, уехала на Дальний Восток. Здесь встретила моего отца.

В пятьдесят пятом году в Кунгуре, куда мать привезла нас с сестрёнкой, я видел у родственников фотографию деда Игнатия с сыновьями, — моими, значит, дядьями. Бородатый мужик в косоворотке и пиджаке. Я сейчас, кажется, даже стал на него немного похож. Только он рослый, а я пошёл в мелкую отцовскую породу.

Жаль, что не побывали мы в ту поездку в Елабуге. Зато в Кунгуре помню своего тогда двухлетнего родственника — Юру, кажется, — с его забавным оканьем. Мать, смеясь, спрашивала:

— Юра мальчик хороший?

Он важно отвечал:

— Хорошой!

— Славный?

— Славной!

Юрины «хорошой», «славной» я вспомнил, когда прочитал у Радищева: «этот барин доброй...»



Родина отца – село Спасское на реке Сейм. Восточная Украина, Сумская область. Шестнадцатилетним уехавший на Дальний Восток, он всю жизнь говорил на приблизительно правильном русском, который сразу выдавал в нём украинца. У нас, впрочем, похоже разговаривала половина Завитой – напомним, хотя бы, словечко «квасоля» моей ровесницы и соседки Райки. Чистота ридной мовы возвращалась к нему, когда он читал наизусть вирши, которые учил когда-то в школе. Особенно любил из Шевченки:

Садок вишневий коло хати,  
Хрущі над вишнями гудуть,  
Плугатарі з плугами йдуть...

Сем'я вечера коло хати,  
Вечірня зіронька встає.  
Дочка вечерять подає,  
А мати хоче научати,  
Так соловейко не дає...

Есть такое любопытное явление, которое я называю для себя «эффект Гоголя». Читаешь его «Вечера на хуторе близ Диканьки» – и будто оживает украинская речь, хотя написаны они на чистейшем русском. О своём детстве отец рассказывал мне, конечно же, на русском, но срабатывал тот же эффект – я будто слышал украинскую речь! Не знаю, что тому причиной: то ли отцов хохлацкий выговор, то ли мелькавшие местами слова «хлопчик», «шматочок», «ховаться», то ли сам дух тогдашней сельской Украины, оживавший в его памяти. Я будто своими глазами видел, как с моим отцом, тогда ещё совсем маленьким хлопчиком, ховалась старая бабка в клуне, зарываясь с ним в солому и шепча: «Тихо, не плачь, а то нас деникинцы *знайдуть!*» Как та же добрая бабка в разгар строгого поста тайком от родителей совала ему с младшими братом и сестрой по шматочку сала: «Вы *ще малэньки*, вам можно!» Живо представлял себе и странную сценку, которую отец почему-то не раз вспоминал. Выгнали они, мальчишки, коней в ночное, сидят у костра, пекут картошку, и вдруг появляется из темноты незнакомая старуха, приближается к костру – и они слышат её слова, похожие на заунывный вой: «Большие дети меня не тро-онут, а маленьких я и сама-а не боюсь». Хохотал, когда отец рассказывал, как они парубками, несмотря на сухую летнюю погоду, надевали на *чоботы* (сапоги) модные городские галоши, смазывали их сырым яйцом, чтоб сильнее блестели, и шли на майдан у церкви завлекать девчат.

Не вызывал веселья только рассказ о том, как его, четырнадцатилетнего комсомольца, выгоняли на раскулачивание.

С отцом учился мальчик по фамилии Кныш. Росту был очень маленького: в четырнадцать лет – как восьмилетний. Семья Кнышей была многодетная, но жили неплохо, потому что все работали не лентяй: и дети, и взрослые. Батраков никогда не держали. Почему местные власти записали их в *куркули*, отец не понимал. Но разбудили его среди ночи, сунули в руки винтовку со штыком: пойдём Кнышей *розкуркулюваты*. Комсомолец – куда денешься. Пошёл. Стоял с винтовкой и молча плакал, глядя, как всю эту семью, в том числе и его маленького товарища, погрузили с узлами на две телеги и повезли на станцию.

Думаю, с великим облегчением на ту же станцию ушёл через какое-то время, подавшись в железнодорожники, и мой юный батя. Хотя однолошадной семье его отца, Филимона Михайловича, раскулачивание не грозило.

### «Крейсер ворюг»

В том нашем доме, что стоял через дорогу от клуба, жила за стенкой семья, состоявшая из трёх человек, причём таких, с которыми не соскучишься.

Главой семьи, ядрёной её сердцевиной, была тётя Таня Срыбная – или Таня Безрукая, как звали её между собой знакомые. Крупная, мощная, с гладкими тёмными волосами и грубым голосом.левой руки у неё не было выше локтя – зато была суровая мужская решительность и бесшабашность.

Работала Таня Срыбная на «брикетке» – это было что-то вроде маленького цеха при складе топлива, там угольную пыль прессовали в небольшие брикеты, которые народ охотно раскупал: ими было удобно топить печку. От угольной пыли лицо её, и без того бурого оттенка, было всё в мелких чёрных точках. Она моей матери говорила, громыхая зычным голосом:

– Я морду кремом каждый день мажу – не помогают!

Их подъезд был со стороны двора, и поэтому Таня Срыбная на работу и в магазин ходила мимо нашего крыльца (а мы к сараю ходили мимо их подъезда). Моя мать покрасила наличники окон. Пожаловалась: погода сырая, долго сохнет. Таня ткнула пальцем в крашеное, посмотрела, вытерла палец о завалинку – и назидательно громыхнула на всю округу:

– А я в краску *ссыкатин* добавляю!

Я, изумлённый, спросил мать, о чём это тётя Таня говорит. Неужели... Мать засмеялась: это сиккатив – раствор такой, чтобы краска быстрее высыхала.



Ещё меня удивляла её фамилия – Срыбная. Как это – с рыбой, что ли? Как пирог?

Оказалось, что правильно следовало бы говорить «Срибная» – то есть «Серебряная» по-украински. Это тоже объяснила мне мать: она, хоть и вятская русачка, об украинском языке понятие имела. Я поразился: надо же, из красивого слова сделали смешное!

Когда-то был у Тани муж, но попала она под поезд и лишилась руки. Муж сбежал, а ей оставил их маленького сына – в придачу к своей хохлацкой фамилии.

Сама-то она была русская, даже кацапка, что было заметно по еёговору, а ещё больше – поговору её мамыши, бабки Срыбной.

Русская фамилия у мамыши если и была, никого не интересовала. «Бабка Срыбная» – да и всё. Эта деревенская старушка, в неизменном платочке, очень любопытная, но, в общем, безобидная, была родом то ли из Брянской, то ли из Рязанской области, – в общем, из мест, не очень далёких от Москвы, – и этим фактом гордилась. Когда ей сказали, что её дочь матерится как сапожник, она простодушно ответила:

– У нас-то, в Москве, все матерятся!

Выговор у неё был вполне московский, хотя, возможно, и рязанский:

– У нас-т, в Ма-аскве, все м-тярятса!

От неё самой, впрочем, матов никто не слышал.

Перед нашими и семейства Срыбных окнами был заборчик, за ним огород, а дальше, через улицу Чапаева, совсем близко, стоял клуб. У клуба киномеханик, хромой Митя, замазал старую афишу и написал название очередной картины: «Крейсер «Варяг». Буквы были крупные. Бабка Срыбная, привалившись к заборчику огорода и шевеля губами, название прочитала. Я шёл мимо, и она мне озабоченно сообщила:

– Картина-т про воро-ов!

– Почему про воров? – удивился я.

– Дык, нябось, крейсер – энто и есть главарь ихний!

– Чей главарь?

– Ну, варяг энтих. Ворюг, стал-быть!

Купили мне велосипед. Я у крыльца подкачиваю камеры велосипедным насосом. Бабка Срыбная останавливается, долго смотрит. Спрашивает:

– А чтой-то ты туды качаешь? Бянзин?

– Воздух, – говорю.

– Во-оздух! – понимающе кивает она. – А я думала, бянзи-ин... Во-оздух!..

Пошла дальше – и, сколько я слышал её, повторяла: «Я думала, бянзин! А энто во-оздух!..»

Юра, тот, что брал меня на рыбалку, во время очередного приезда шёл вечером мимо родительских окон и увидел, как бабка Срыбная, встав на цыпочки, тянет шею, стараясь заглянуть в освещённое окно.

– Бабушка, – мягко сказал он, – если вам так интересно, зайдите к нам в квартиру и посмотрите.

Она недовольно что-то буркнула: мол, ходят тут всякие! – и пошла себе прочь.

Ну как на такую сердиться?

## «Калескоп»

Третьим членом семьи Срыбных был сын Тани Безрукой Колька, ровесник моей сестры Натки.

Когда мы только переехали в эту квартиру, он через несколько дней сам, без приглашения, пожаловал к нам в гости – настырный такой пятилетний малец. Деловито, будто оценивая, оглядывал нашу обстановку и говорил: «Хм!» Но вдруг остановился как вкопанный.

В каждой квартире в те годы имелась чёрная картонная радиотарелка. У нас она висела на стене у окна. Но почему-то в тот день рядом с ней была и другая такая же чёрная тарелка, подвешенная к стоявшей в углу тумбочке. Откуда она взялась – не помню. Может, отца попросили передать её кому-то, может, что-то другое. Но неважно.

– Две радивы! – изумился маленький Колька. Долго глядел на чёрные тарелки, о чём-то думая. Сейчас я даже допускаю, что он размышлял о несправедливом распределении благ. Уходя, обернулся на пороге и прокричал не то восторженно, не то негодуя:

– У нас одна радива, а у вас две!

Он рос весёлым, нахальным и умным. Сображал быстро, всё схватывал на лету. Мог бы стать круглым пятёрочником, но учился скверно. Зато без усталости изобретал всяческие каверзы и пакости. За стенкой ежедневно гремело Танино: «Ах ты, сукин сын!» – и маты, и звуки глухих шлепков, и стук падающих табуреток, и кудахтање бабки Срыбной, то возмущённое, то испуганное. Слышался и Колькин голос – это было или нарочито громкое хныканье, или наглый смех.

Иногда Колька Срыбный вроде бы включался в добропорядочную жизнь.

В те годы повсюду: и в школах, и на производстве – были коллективы художественной са-



модельности. Их концерты собирали толпы зрителей, иные певцы, плясуны и баянисты становились буквально народными любимцами. Творческий ажиотаж и детей заражал. Они устраивали во дворах свои выступления с песнями и танцами, а родители и соседи дружно хлопали им.

Сестрёнка моя уговорила Кольку подготовить вместе концертный номер – и он, к удивлению соседей, согласился. Жильцы дома собрались в небольшом дворике у нашего крыльца, расселись на вынесенных из дома стульях и табуретках. Натка с Колькой повесили на бельевую проволоку большой, вязанный из цветных тряпочек половик. И выступление началось. Натка выскочила из-за половика – в цветастом платье, с мамиными бусами на шее. Подбоченилась, топнула ногой, махнула платочком – и пропела:

Где ж ты, цыган, цыган молодой?

Из-за того же половика, только с другого края, выскочил Колька, в рубахе навыпуск, подпоясанной ремешком, в кепке с цветком георгина над козырьком, встал перед Наткой козырем и залихватски пропел в ответ:

Вот я, цыган, цыган молодой!

Наши родители и соседи смеялись и хлопали. У Тани Срыбной на буром лице тоже расплывалась довольная улыбка, открывая блестящий серебром вставной зуб.

Но через день уже слышалось за стенкой: «А-а, скотина! Зачем у бабки пять рублей спёр!» – «Ха-ха! Она их сама потеряла, дура старая!» – «Ах ты...» И маты, и топанье, и грохот роняемых табуреток.

А я сделал одну штуку, которая буквально пошла по рукам. Все просили: «Дай глянуть!» Это была небольшая картонная трубка, с обоих концов закрытая круглыми стёклами. Заднее стекло заклеено белой бумажкой, а в переднее глянешь: мама родная! Цветной узор невиданной красоты! Чуть повернёшь или просто слегка шевельнёшь трубку – и с тихим шелестом на месте прежнего возникает новый, ещё более невероятный узор. Сколько ни поворачивай, хоть тысячу раз, хоть миллион, хоть сто миллиардов раз – узор всегда будет совершенно новым! Ни один рисунок ни разу не повторится.

Называлась эта волшебная трубка – калейдоскоп.

Секрет изготовления я перенял всё у того же Арика.

Внутри трубки были маленькие стеклянные осколки – красные, зелёные и жёлтые (от стёкол железнодорожных сигнальных фонарей), а также синие, коричневые и прочие (от бутылок). Осколочков этих было немного – десятка полтора. Но они многократно отражались в трёх специальных отражателях, а эти бесчисленные отражения как раз и складывались в затейливые геометрические узоры. Отражателями служили вставленные в трубку, во всю её длину, три узких обрезка обыкновенного оконного стекла. Отец наши окна стеклил – и я эти обрезки прибрал.

Слегка повернёшь трубку – цветные осколки шевельнутся, задевая друг дружку с лёгким шорохом, похожим на слабый шелест листы, и чуть-чуть изменят своё положение. А стёкла-отражатели мгновенно создадут совершенно новый потрясающий узор.

Хитрее всего был способ сделать для этой трубки два круглых стекла – переднее и заднее.

У нас на перекрёстке улиц стояла обычная для тех лет деревянная электрическая опора. В ней столб к столбу намертво крепился толстой проволокой – скрутками в несколько оборотов каждая, а между проволочными оборотами кое-где были щели. Я вставлял в такую щель кусок оконного стекла и, осторожно нажимая, отламывал от самого его краешка малюсенький кусочек. Чуть сдвигал стекло – и снова отламывал. И так, передвигая и постепенно «обкусывая» краешки, придавал куску стекла округлую форму. Работа требовала немыслимого терпения – но зато каков был результат!

Даже взрослые соседи, глядя в трубку, так и ахали. Иных и оторвать нельзя было от созерцания меняющихся узоров: «Ну подожди, я ещё маленько...»

И вдруг мой калейдоскоп пропал. Исчез.

Потом выяснилось, что его украл Колька Срыбный.

### *Забегая вперёд*

Спустя года три или четыре – в девятом классе – я написал рассказ, где изложил ещё свежую тогда историю этой кражи. Но рассказ был утерян. Я и вспомнил-то о нём лишь недавно, взявшись перебирать в памяти события детства, а до этого всю жизнь первым своим рассказом считал совсем другой\*.

Теперь я уже начисто забыл, как именно Колька украл калейдоскоп, как был разоблачён,

\* Владислав Лецик. Первый рассказ // Амур: литературный альманах БГПУ. № 15. Благовещенск, 2016. С. 22–27.



вернул ли мне украденную вещь или она так и пропала бесследно. Помнится только заголовок рассказа – «Калескоп». Таня Безрукая гоняла сына, громыхая руганью: «Какого шиша ты спёр калескоп? Отдай людям калескоп, скотина!»

Заголовок даёт подсказку: почему я забыл подробности кражи. Потому и забыл, что эти криминальные мелочи меня не очень-то волновали. Главное, что мне хотелось, когда брался за перо, – это описать колоритную семейку Срыбных.

В конце концов, характеры людей и их язык бывают причудливее любых узоров калейдоскопа.

Как ни жаль, но Колька со временем попал в детскую колонию, а потом и на зону. Вернулся ещё более ушлым. Дальнейший путь его мне неизвестен.

## Предводительница кур

В соседнем со Срыбными подъезде, тоже выходящем во двор, было две квартиры. В одной жила одинокая тётя Валя Яцун, в другой – тётя Маруся Ильина с мужем, дядей Витей Ключевым.

Невысокого роста, плотная, средних лет тётя Валя Яцун была дамочка энергичная и громкоголосая. Ходила быстро, держа прямую осанку и слегка пританцовывая. Своих соседей по подъезду – тётю Марусю и дядю Витю – она в упор не видела. С прочими любезно здоровалась. Со мной, помню, иногда разговаривала о книжках – она любила толстые, о старинной заграничной жизни. Но настоящими друзьями – вернее, подругами – были у неё куры, десятка полтора. Они никогда не слышали от своей хозяйки пошлое «цып-цып!», а тем более хамское «кыш!»

Она выходила с миской пшеницы и на весь двор торжественно восклицала:

– Где вы, мои ненаглядные? Где вы, мои божественные?

И куры бежали к ней со всех сторон. Она бросала на землю горсточками зерно – но не всё сразу. Смотрела, кого из её кур рядом нет, и выкликала их по именам, с лирическими добавлениями:

– Чернушка, р-роковая моя подружка! Беляночка, беззаботная куртизаночка!

Каждая из опоздавших слышала своё имя и спешила из дальнего угла получить персональную горсточку зёрен.

Поскольку все прочие были пеструшками, то лишь одна из них звалась Пеструшечка – моя

душечка. Зато у остальных имена были самые аристократические: Элеонора, Королева, Инесса, Мадмуазель и так далее. Была даже Герцогиня Камберлендская. А уж поэтические добавки так и сыпались:

– Элеонора! Царица моего взора!.. – упоённо восклицала тётя Валя, бросая перед царицей горстку зёрнышек. – Инесса! Где же ты, огнедышащая моя любовь?

И тут же, сменив ударение в слове, нараспев декламировала в рифму:

Огнедышащая,  
Всегда спешащая!..

Слушать её было – не переслушать. И куры внимали ей с удовольствием.

## Своей судьбе не хозяин

Тётя Маруся Ильина была тоже маленького роста, тоже очень шустрая, но ходила не пританцовывая, как её соседка по подъезду, а озабоченно глядя в землю. Тётя Маруся тоже держала кур, однако подругами их не считала. У неё подруг вообще не было. Был дядя Витя Ключев – вроде бы муж, но никак не друг. Нужный в хозяйстве работник. У него случались запои, а потом он, искупая вину, покорно выполнял все её распоряжения и молча выслушивал крикливые попреки.

Кроме кур, яйца которых тётя Маруся копила, а потом сдавала в магазин сельпо, у неё были ещё и кабанчик, а то и два, и три, и свинья с поросятками, и корова. Дядя Витя, вдобавок к казённым стайке и сеновалу, нагородил для этой живности клетушек, без конца чистил их. Летом косил сено – и для коровы, и, по распоряжению жены, на продажу. Горбатился в поле, обрабатывая картошку, которой они сажали не по пять-восемь соток, как мы, а два раза по пятнадцать, оформляя по два участка в разных местах. Картошка шла и себе на еду, и на корм скотине, и, опять же, на продажу. Сама тётя Маруся работала в чайной судомойкой и с работы всегда возвращалась с ведром помоев – свиньям в корыто добавить, в поило корове подмешать.

Детей эта пара не имела: что-то там у тётю Маруси было не так. Ну а дядя Витя, как по всему получалось, был своей судьбе не хозяин.

Ежедневно, во время киносеансов в стоявшем через дорогу клубе, из мощного динамика на всю округу раздавались музыка кинофильма и реплики персонажей. Это так и манило купить билет.



Но ни разу на моей памяти тётя Маруся и дядя Витя не сходили ни в кино, ни на какой-нибудь концерт.

Она всегда была одета по-деревенски, для работы, голова замотана в платок, на ногах сапоги – резиновые или кирзовые.

Дядя Витя тоже ходил в чём-то мятом, пыльном, рабочем. Он у меня и сейчас будто перед глазами: понурый, пришибленный, но по нему видно – добрый. Если улыбнётся, то застенчиво, виновато. Нос приплюснут – перебили по пьянке. На руке синим наколоты якорь и «Витя» – следы двухлетней отсидки, тоже за пьянку.

– Знаешь, Владик, не жизнь это у меня, – то скливо сказал он однажды мне, мальчишке. – Люди, смотришь, оденутся прилично, в клуб сходят, в парк... А мы...

И безнадежно махнул рукой.

### *Забегая вперёд*

Прошли годы. Приехал я в очередной раз в Завитую навестить отца и услышал новость: Маруся Ильина, в дополнение к мужу, завела батрака. Это был бродяга из знакомых дяди Вити, прибившийся к их семье. Имени его никто из соседей не знал. Отец мой так и звал его – батрак. Жил он летом, весной и осенью в стайке, а зимой бывал допущен в квартиру, где спал на полу в кухне. И, помогая Виктору, работал за харчи в Марусином хозяйстве, которое с годами не уменьшалось.

Отец наш просто бесился:

– Куркулиха! И мясо, и сало сдаёт, и картошку, и яйца! И молоко продаёт, и поросятами торгует. Всё на книжку складывает. И не лопнет ведь от жадности!.. У неё уже там... да миллион, не меньше! А куда ей это всё? Ни детей нет, ни сама жизни не видит...

А потом с Виктором Ключевым случилась беда. Он ослеп. Не вникал я в подробности, но представляю, каково ему жилось совсем слепым и чего только он, ставший беспомощным нахлебником, не наслушался от жёнушки в свой адрес.

Прошли ещё годы. Сестра моя приехала из Благовещенска к отцу. Торопливо переходит через двор, а Виктор Ключев сидит на крыльце. Подходить к нему, чтобы сказать: «Здравствуйте, это Наташа, помните такую?» – она не стала: и тяжело, и неловко, да и о чём говорить-то?

А он вдруг окликает её:

– Наташа! А ты что не здороваешься?

Она так и опешила:

– Дядя Витя!.. А вы... видите меня?..

– Вижу, Наташа! – И улыбается, постаревший.

Оказывается, ему бесплатно вернули зрение в Хабаровске, в только что открывшемся там лечебном центре офтальмолога Фёдорова.

На закате ненастной, несложившейся жизни выглянул и для дяди Вити маленький лучик радости.

## Клуб

Наверное, вдвойне обидно было дяде Вите изо дня в день гнить в беспросветном болоте тётя Марусиною хозяйства, живя на такой улице, как наша Кирова. А точнее, именно на нашем её отрезке, который вёл от перекрёстка, где стоял клуб имени Ленина, к воротам парка.

Каждый вечер по улице к клубу не спеша шёл народ – в основном железнодорожники с жёнами. Все одеты в чистое, лучшее, и у всех на лицах, после дневных трудов и суеты, умиротворённость и предвкушение праздника.

Клуб, кстати, был уже не тот дряхлый, со статуэткой Ленина над входом, где я мальцом смотрел кино про Тарзана и Садко. На его месте построили новый клуб – тоже деревянный, одноэтажный, он был намного просторнее, с высоким фронтоном, и смотрелся вполне элегантно.

Как же мать радовалась, собираясь в кино, наряжаясь в крепдешиновое платье, приводя в порядок отцов железнодорожный китель. Как бурно и восторженно делилась потом впечатлениями – от той же, помню, «Карнавальная ночи». И не меньше, если не больше, любила спектакли («постановки» – как она говорила) приезжавшего на гастроли Благовещенского драмтеатра. Фамилию «Чекмарёв» я впервые услышал от неё.

Поскольку динамик на фронтоне клуба громко, и не по одному разу за день, транслировал всё, что звучало на киносеансах, я, даже не посмотрев фильма, примерно знал, о чём он, и «на слух» рисовал в воображении невидимые кадры.

Как-то перед сеансом к нам заглянули наши знакомые: дядя Коля и тётя Пана Васильевы. Пока мои родители собирались, дядя Коля завёл со мной разговор о кино. Я сказал, что люблю такое, где сражаются на саблях и шпагах.

– Тогда тебе надо посмотреть «Фанфан-Тюльпан», – сказал дядя Коля.

– Ага! – возразил я. – На него до шестнадцати лет не допускаются!

– Да? А что там такого? – Дядя Коля удивлённо поднял брови, мысленно пробегая кадры виденного им недавно фильма. Хмыкнул, качнул головой и ничего не сказал.



Уже взрослым сходя на «Фанфана», я понял, что «до шестнадцати лет не допускалось» смотреть декольте Джинны Лоллобриджиды. Я-то понял – а нынешние, наверное, уже не поймут, пожмут плечами: декольте – ну и что тут такого?

Свои «тараканы» есть у каждой эпохи.

И поди разберись, у которой они хуже.

А фильмы «до шестнадцати» я начал смотреть в пятнадцать лет, когда считать себя «дитём» было уже просто унижительно. Со скучающим видом протягивал контролёрше билет, а внутри всё замирало: вдруг попросит показать паспорт? Позора не оберёшься. Подобные конфузы случались с моими сверстниками, не один я был такой умный. Но, кроме этих волнующих моментов с контролёршей, ничего от посещения «запретных» сеансов в памяти не осталось.

Зато навсегда сохранилось воспоминание о том, как я в пятнадцать лет ходил на двухсерийный индийский фильм «Четыре дороги» – самый обыкновенный, никаких «до шестнадцати», и начало сеанса вполне дозволяемое: четыре часа дня.

Ночью выпал запоздалый апрельский снег. С утра он начал таять на весеннем солнце и после обеда остался лишь белыми пятнами в огородах да на обочинах дорог. Я накануне посмотрел первую серию фильма, теперь собирался на вторую. И тут по радио (не из чёрной картонной тарелки, а из недавно купленного динамика в корпусе из коричневой пластмассы, с золотистым декоративным экраном) раздался размеренный и торжественный голос Левитана: «Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза!..» Я замер в напряжённом ожидании.

Оказалось, что в космос впервые полетел человек! Гагарин...

Несколько раз жадно прослушал сообщение и отправился в кино. Задержавшись на мокром деревянном тротуаре, глядел на сверкающие белизной клочья снега на чёрных мокрых обочинах, на ослепительно синее небо – и растерянно думал: «Здорово!.. Но только бы вернулся...»

Вышел из кино и узнал: Гагарин приземлился. Благополучно.

В тот же вечер я, как в лихорадке, написал стихи. Восторженные. С точки зрения размера и рифм – вполне терпимые. С точки зрения сути – банальная чушь.

До стихов оставался ещё целый год.

На другом конце квартала улица упиралась в парк. Там по вечерам гремел на танцплощадке духовой оркестр – звуки вальсов, фокстротов и танго доносились даже до нашего дома. Но мы, мальчишки, в парк наведывались днём.

Росли в нём берёзы и ясени. В дальнем глухом левом углу я ещё застал старую яблоньку-дичку с толстым, сверху обломанным стволом и красными кисло-сладкими яблочками, маленькими, как ягоды. Они были почти все оборваны мальчишками, но и мне несколько яблочек досталось. Это было первое в моей жизни дерево, на которое я, в ту пору ещё шестилетний, залез. На следующий год старая яблонька засохла.

Что сразу бросалось в глаза – так это яркие плакаты, стоявшие по бокам аллеи, идущей от входа. На них были нарисованы цветные карикатуры. Одну помню: пара стилиг пляшет, немыслимо задирая ноги, – и подпись:

Жора с Фифой на досуге

Лихо пляшут «буги-вуги».

Этой пляской безобразной

Служат моде буржуазной.

Такие же карикатуры были в журнале «Крокодил», подшивку которого, вместе с подшивками «Огонька» и «Работницы», можно было посмотреть тут же, в одном из дощатых «павильонов» парка, где сидели над досками шахматисты.

Мужчины, да и молодые парни, гулявшие по парку, были все в приличных брюках – то есть в чёрных, серых или тёмно-синих, но непременно широких и даже широченных, – и аккуратно стрижены под бокс и полубокс, а девушки – в скромных, значительно ниже колен, платьях, с волосами, заплетёнными в косы. Стилиги же в «Крокодиле» и на парковых плакатах изображались в узких клетчатых брючках, в широких, как распашонки, рубахах с попугаями и пальмами, в ботинках на толстой подошве и с дурацким коком, завитым над лбом. А девушек-стилиг карикатуристы рисовали в узких и кошмарно коротких, лишь чуть-чуть закрывавших колени, юбках, с причёсками, как вороны гнезда, а уж подошвы на женских туфлях были просто чудовищно толстыми.

Как же мы потешались, разглядывая нарисованных стилиг: ну чучела и чучела!

Сам-то я, разумеется, выглядел по-человечески: в одних трусах и босиком, зато на стриженной голове – кепка, хоть и мятая, и пыльная, но зато вполне нормальная, не то что стилижья клетчатая шляпа...



Видел я лично такую шляпу! Весной ходил в магазин за хлебом – и вдруг застыл на месте. По главной улице шагал молодой человек, явно приезжий. Он был в полуботинках на толстой подошве и в узеньких брючках, клетчатых, как у клоуна! Более того, у него клетчатыми были и нелепое короткое пальто, подпоясанное пояском, и сам этот пояс, и даже – вообразите – шляпа!

Молодой человек шагал быстро. Я, очнувшись от столбняка, побежал следом – и сопровождал его до тех пор, пока он не свернул куда-то. И я потом всем с упоением рассказывал, что видел настоящего стилиста!

Входная аллея парка пересекалась с длинной центральной. На их пересечении стояла скульптура Сталина в полный рост. Исчезнет она не скоро – лишь в шестьдесят втором году, через год после двадцать второго съезда партии.

Неподалёку от Сталина мороженщица продавала мороженое, накладывая его в вафельные стаканчики. Иногда стаканчики попадались ломаные, и она отдавала их ребятишкам, которые крутились рядом. Мне тоже однажды повезло похрустеть бесплатным вафельным стаканчиком. А как-то мы с одним приятелем нашли у магазина в грязи две целёхонькие бутылки из-под водки, хорошенько помыли их у колонки и сдали в тот же магазин, получив рубль двадцать копеек за каждую. Побежали в парк и купили по порции настоящего мороженого. Вот это был пир!

В конце центральной аллеи высилась изящная полукруглая крыша деревянной летней эстрады. По выходным и по праздникам сюда толпой валили зрители. Успехом пользовались и плясуны – мастера *отрывать* «матросское яблочко», и самодеятельные жонглёры с акробатами, и балалаечники с гармонистами, но особенно певцы и певицы.

Тут царили – другого слова не найду – наш школьный учитель пения Прокопий Гаврилович, мужчина бравого вида, с чёрными, начавшими седеть волосами, и его жена, заведующая клубом и парком – не помню её имени. Полногрудая, с царственной осанкой, она под баян мужа великолепно пела романсы и русские песни. А ещё Прокопий Гаврилович сопровождал смуглой девушке по имени Аза, которая с лукавыми перебивками в голосе, задорно двигая плечами, исполняла песни про цыган:

Ехал цыган на коне верхом,  
Видит: девушка идёт с ведром.

Заглянул в ведро – там нет воды,  
И решил: не миновать беды!..

Интересное дело: в школе, на своих уроках пения, Прокопий Гаврилович никогда не мог наладить дисциплину, притом что ученики его очень уважали как баяниста. На нас он никогда не повышал голос, был внимателен и слегка насмешлив. Кружок, им руководимый, школьные певцы посещали с большой охотой. Но на его уроках – хоть ты тресни! – традиционно стоял шум, гвалт, даже мелкие драчки затевались. Почему-то считалось, что «на пении» это можно. Прокопий Гаврилович, держа баян на коленях, с отстранённой усмешкой оглядывал шумевший класс. Рванув меха баяна, нарочито громко начинал что-нибудь играть. У него на одной руке не было двух пальцев, безымянного и мизинца, но играл он замечательно. Музыка на какое-то время заставляла заткнуться и самых оголтелых – но потом шалман возобновлялся.

Зато тут, в парке, когда он выходил с баяном на эстраду, замолкали и школьные бузотёры – чего уж говорить о взрослых зрителях.

Тогда я впервые услышал удивительную песню, не похожую ни на какие другие, прежде мною слышанные. Прокопий Гаврилович пел, потрясающе соединяя насмешливость с задушевностью, и это звучало заразительно:

Друзья, природою самую  
Назначен наслажденьям срок:  
Цветы и бабочки весною,  
Зимою – виноградный сок.  
Снег тает, чувства пробуждая,  
Короче дни – хладеет кровь.  
Прощай, вино, в начале мая,  
А в октябре прощай, любовь!..

Через много лет, увидев в сборнике стихов Беранже эти строки, волшебным образом переведённые Василием Курочкиным, я будто снова оказался на миг в парке моего детства.

Однажды в дальнюю часть парка, где росли берёзы, – она показалась мне в тот утренний час наиболее глухим уголком, – я пришёл испытать пистолет, который сделал сам. На деревяшке, имевшей форму пистолета, сверху был прочно закреплён ствол – медная трубка, с заднего, «казённого», конца сплюснутая и загнутая вниз. Ближе к сплюснутому концу я пропилил в трубке маленькое отверстие – для поджигания. Ствол набил, за неимением пороха, серой от спичечных головок и затолкал туда настоящую боевую остро-



конечную пулю от трёхлинейной винтовки. Эту пулю и подходящую к ней по диаметру медную трубку мне уступили опытные «самопальщики». Прицелился в берёзу, стоявшую в пяти шагах, и чиркнул спичкой.

Выстрел грянул. Слава Богу, трубку не разорвало. Хотя, говорят, могло.

Пуля целиком вошла в берёзу. В маленькой округлой ямочке, образовавшейся в белой берёзовой коре, ещё долго можно было разглядеть хвостовую часть пули. Но постепенно след от выстрела затянуло. Годы спустя найти ту берёзу я, как ни пытался, уже не смог.

Осенью мне нравилось бродить в ближней части парка, среди ясеней, — с них падали красивые, почти лимонной желтизны, перистые листья.

А в доме, что стоял ближе всех к парку, жила девочка. Тоже дочка паровозного машиниста — только звали её не Наташа, а Лариса, Лорка. Тоже со светлыми кудрями — только кудри у Лорки были не просто светлые, а золотые!

Очень медленно прохожу по деревянному тротуару мимо её дома. Во дворе бегают, играя, дети — и она среди них. Присоединиться к ним, к малышне — это для меня просто стыд и срам: ведь я учусь уже в пятом! Да и сама она, увы, младше меня на целых два года.

Но я глаз не могу от неё оторвать.

Дети играют во дворе, а две тётки у забора глядят на неё (а на кого же ещё глядеть!) — и одна другой говорит:

— Это Павлюченкиных дочка. Она у них прямо как кукла!

Я иду дальше, захожу в парк и брожу там. Под пасмурным небом панорама сентябрьского парка подсвечена снизу слабым лимонно-жёлтым светом опавших листьев ясеня. Чуть-чуть отсыревшие, они шуршат под ногами еле слышно. Их неяркое свечение и тихое шуршание не мешают, а помогают мне думать, думать, думать... И не мыслями думать — боже, какие там мысли!.. Немыслимые картинки встают в воображении и, кружась, сменяют одна другую... Вот дикие леса Северной Америки, у меня в руках заряженный мушкет, я иду, вглядываясь в тёмные заросли, а за мной идёт Лорка... Вот бушующее море, я у штурвала брига, командуя: убавить паруса! — а рядом Лорка... Вот несётся мой верный конь по степи, а за спиной — свист шляхетских пуль, и конский топот, и вражье злобное улюлюканье, но всё ближе спасительный казацкий стан, и замерла у меня на руках, с надеждой и верой прижавшись ко мне, Лорка...

## Кажется, это и было прощание

В сентябре тысяча девятьсот пятьдесят восьмого я пошёл в шестой класс. Минувшее лето выдалось дождливым, радио передавало про наводнение в Благовещенске. У нас опять затопило перекрёсток улиц Кирова и Чапаева, но я не помню пацанячьих морских баталлий: может, они и происходили, но без моего участия.

Отца снова положили в больницу, причём надолго, а мне, в мои уже двенадцать с половиной, и хотелось бы дурака повалять, да не давали дела по дому.

И вот пришла пора картошку копать. Участок нам в том году был выделен по Поярковской железнодорожной ветке. С одной стороны — хорошо: рано утром отвезут туда поездом вместе со всеми, организовано, а поздно вечером увезут назад вместе с выкопанной картошкой. А с другой стороны — как же мы с мамой вдвоём успеем всю свою картошку выкопать за один день?

Ей подсказали взять в помощники Мишку. Это парень у них в привокзальном ресторане временно работал на разных работах — «куда пошлют».

Картошка в тот год из-за дождей не очень удалась. Место под участок отвели не топкое, но земля всё равно была липкая, тяжело напитанная влагой. Картофелины приходилось руками очищать от грязи. И было много мелкой картошки. Мишка рассудительно говорил:

— Ничего! Курáм будет!

(Мать потом долго ещё посмеивалась, вспоминая это «курáм».)

Белокурый, чуть выше среднего роста, но узкоплечий, не слишком крепкий, Мишка всё же здорово помог нам. Он был откуда-то с запада — не то из Брянской, не то из Курской области. Как очутился в нашей Завитой и куда потом вскоре уехал — не знаю. Ему было девятнадцать лет. В раннем детстве он пережил немецкую оккупацию и, покачивая головой, говорил матери:

— Э-э! Вы тут, на востоке, разве войну видели?

Была одна вещь, в те времена в наших краях для молодого парня совершенно неслыханная: Мишка был верующим. По этой причине парни, что знали его по работе на вокзале, глядели на него как на чокнутого.

А ещё он несколько странно копал картошку. Мы привыкли сначала пройти рядок, подкопав сбоку вилами каждый кустик, а потом уже выдергивать кустики за жухлую ботву, обрывая с корней клубни и выбирая из взрыхлённой вилами земли то, что там осталось. А Мишка сначала выдёргивал все кустики, а потом снова проходил рядок с



вилами. Какой-то парень подошёл, посмотрел и хмыкнул:

– Всё у тебя как-то по религии!

Мишка лишь улыбнулся едва заметной улыбкой и продолжал делать по-своему. Он, видно, привык молча сносить насмешки.

Картошку из вёдер мы ссыпали неподалёку, разгребая кучку пошире, чтобы клубни хоть немного подсыхали. Да, многовато было мелкой. Ну что ж, не только «курám», и чушке пойдёт, и корове. Да и самим – мало ли что...

В обед хорошенько перекусили. Были варёная картошка, помидоры, крутые яйца. Кажется, были даже холодные котлеты, которые мать с вечера купила в ресторане... Но мне запомнились плавленый сырок «Дружба» и банка консервов «Камбала в томатном соусе» – редкие, магазинные лакомства!

А Мишка, я думаю, ел бы одну варёную картошку, если бы мать настойчиво не требовала: «Миша, бери яйцо!.. Бери помидор!.. Ну что ты сырок не возьмёшь?..»

Выкопать мы успели. Клубни, толком так и не подсохшие, стали снова бросать в вёдра, обламывая с некоторых слишком уж большие комки грязи. Потом ссыпали картошку в мешки и таскали ближе к железной дороге – туда, куда и остальной народ сносил своё накопанное. Носить было далековато. Сначала Мишка набирал в свой мешок по четыре ведра, еле-еле взваливая его себе на спину, а я, тоже с натугой, но тащил свой оклунок – два ведра в мешке. Однако мать наше рвение пресекла, и Мишка стал набирать себе по три ведра, а я и вовсе по одному. Зато дело пошло быстрее. Уже там, на месте, мы, как полагалось, насыпали по пять вёдер в каждый мешок с написанной по мешковине химическим карандашом нашей фамилией. И каждый завязали особыми завязками, на которые мать пустила яркой расцветки тряпочку – чтобы сразу было видно чей.

Таких же, как наши, мешков, тесно составленных у железнодорожной насыпи, скопилось множество. Из приехавших с нами копальщиков кто-то ещё подносил к общей куче последние мешки, но многие уже сели ужинать, расположившись там и сям.

В сумерках, усталые, разложили и мы на расстеленной скатёрке остатки обеда. Хлопая себя по лицу от комаров и мошки, торопливо ужинали, ожидая, что вот-вот подойдёт поезд и надо будет грузиться. Но закат догорал, а поезда всё не было. Первые звёзды зажглись, и мать сказала: хорошо, дождя хоть не будет. Зато стало холодновато, пришлось накинуть ватные телогрейки.

По эту сторону насыпи в сумерках темнели разбросанные по всему полю копны: здесь был

покос какого-то колхоза или совхоза, но сено почему-то до сих пор не сметали в стога – хотя надвигалось время осенних дождей.

Что ж, сгнить ему не дали. Несколько парней растворились в сгущавшейся темноте и вскоре вернулись с охапками сена, свалили их в кучу. Весело засветился костёр. Я среагировал мгновенно:

– Мам, пошли туда!

Мы подхватили свои вещи и поспешили к огню. У нас оставалось ещё несколько свёрнутых пустых мешков, и мы уселись на них. Разместиться успели удачно: не слишком близко, чтобы чересчур не припекало, но и так, чтобы никто нас от огня не загораживал, хотя у большого костра вскоре столпился вкруговую почти весь народ. Мишка тоже подошёл, но не сел с нами рядом, а отошёл куда-то в сторону, и я его больше не видел. Так он где-то, всех стесняясь, и топтался за спинами, странный человек.

Пламя костра людей взбодрило: оживились, заговорили о том о сём, тут и там раздавался смех. Всеобщим вниманием завладел огромный черноволосый мужик, горластый и, несмотря на свои внушительные размеры, очень подвижный. Он оглушал публику трубным голосом, непрерывно что-нибудь рассказывая, и при этом приседал, размахивал ручищами и делал выразительные гримасы.

Вспомнили показанную на днях в клубе серию «Тихого Дона» (для меня по малолетству запретного) – и этот мужик тут же начал бурно вспоминать один эпизод за другим. Выпучив глаза, басысто хохотал:

– ...А она ей через плетень – вот так!.. – И, отставив зад, двумя руками откинул вверх воображаемую юбку.

Кто-то заговорил про деда, который не может добиться пенсии, и говорун сразу загудел про своего знакомого:

– Он в Москву ездил – и добился! – Подняв на всеобщее обозрение огромный указательный палец и сдвинув лохматые чёрные брови, с особой значительностью понизил свой трубный голос: – До самого Сулова дошёл!

– Да-а, Москва... Там-то, конечно, проще... – завздыхал, закивал народ. А говорун и эту тему немедленно оседлал:

– Москвичи – не как мы, они экономные! – громкогласно напирал он на слушающих. – Там иначе не проживёшь. Если корка хлеба засохнет, москвич её чушкам не бросает. Он её сперва – в воду... – Зажав щепотью воображаемую корку хлеба, говорун широким жестом показал, как москвич макает её в воду. – ...а потом – в духовку! – Снова соответствующий жест. – И она опять как свежая!



А поезд всё не приходил. Парни время от времени выныривали из темноты с новыми охапками сена. Затухающий костёр снова вспыхивал, взмётывались алые языки, и в клубах дыма плавно взлетали высоко в чёрное небо огненные стебельки сухой травы. Разговоры постепенно утихли, а огромный говорун словно где-то затерялся. Хотя, наверное, просто умолк. Кто смотрит на огонь, тот всегда умолкает – эта нехитрая истина впервые открылась мне в тот долгий вечер. Молча смотрели на костёр и пожилые люди, и девушки в косынках, и чубатые парни.

А потом зашели – и, слушая песню, я словно потерял ощущение времени...

Уже за полночь поезд пришёл. Мужики перекидали на открытую платформу мешки с картошкой, потом все вошли в теплушку, тесно расположились на нарах и на полу, и поезд повёз нас домой. Но мне подробности погрузки не запомнились – хотя я и смотрел, и под ногами путался, как мама потом сказала, а уснул уже только в теплушке.

Зато навсегда остались в памяти алые языки пламени, взлетающий в тёмное небо дым с огненными сухими травинками, освещённые лица вокруг костра – и песня, так захватившая меня, заставившая забыть про всё на свете. Начал петь парень, у которого из расстёгнутого ворота куртки выглядывала полосатая тельняшка – мода такая была. И песня, хоть я её до этого ещё не слышал, тоже была *модная*. Тогдашний *шлягер*. Но слова эти лживы! Какая мода, какой шлягер? Эта песня нахлынула на меня как внезапное откровение, как близкое дыхание чего-то вечного, огромного, неудержимо манящего, чего-то такого, без чего и жить нельзя.

Вечерком  
за окном  
в синем небе мерцает звезда.  
Каждый раз в этот час  
о тебе я тоскую всегда...

Песню подхватила стоявшая рядом с парнем девушка в косынке, а за нею и другие девушки и парни. Остальной народ будто оцепенел, слушая. Задумчивый, негромкий хор чудным образом со-

единился в одно целое с пламенем и дымом костра, с летящими в небо искрами.

Вижу в сумерках я  
в платье белом тебя, –  
ты рядом,  
ты рядом со мной, дорогая,  
и всё ж далека, как звезда...

Я слушал, смотрел в костёр – и в нём видениями струились смутные образы. Мелькнула и строгая скромница-отличница, у которой кучери, как у короля, и Лорка с золотыми локонами, и даже девочка в светлом платье среди стеблей полыни, и много чего ещё... Но не мелькало там ни опасных зарослей с затаившимися американскими индейцами, ни рваных парусов брига в штормящем море, и не слышалось свиста шляхетских пуль... Что-то другое чудилось в языках пламени и в лёгких клубах дыма, какая-то иная жизнь, непонятная и загадочная. Взрослая. Всё в ней – и я это с неожиданной ясностью почувствовал – будет уже как-то иначе...

Тот вечер в осеннем тёмном поле у железной дороги, пламя и дым первого в моей жизни костра, песня, от которой замирало сердце, отрешённые лица слушателей, будто глядящих каждый в себя, – всё это представляется мне сейчас как прощание с детством.

Это немного странно: вроде бы рановато было прощаться – впереди ожидала ещё целая вереница памятных детских эпизодов. Более того, кое-что из рассказанного мною выше происходило уже *после* этого вечера.

Но кто способен провести чёткую границу: вот здесь – детство, а здесь уже... как это называется – отрочество, что ли, или ранняя юность?..

И можно ли искать чёткие границы там, где «всё течёт, всё меняется»?

Как бы там ни было, а не отпускает ощущение, что именно в тот вечер совершилась неуловимая перемена – и мой мир сделался в чём-то другим, уже не вполне детским.

Этот вечерний костёр я всегда буду вспоминать как последний из *первых приветов*, которые посылала мне судьба в те далёкие годы.

Когда завязывалось наше с ней знакомство.

Август-сентябрь 2022